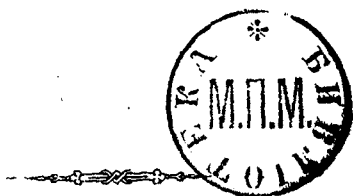


238.

# ЛИТОВСКО-ЯЗЫЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ.

Историческія изслѣдованія Теобальда.



ВИЛЬНА.

Типографія п. ф. О. Завадзкаго, Замк. п. № 149.

1890.

Дозволено цензурою.—18 января 1890 года. Вильна.



## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Представляемое на судъ образованной публики настоящее сочиненіе, состоитъ изъ рефератовъ, или вѣрлѣе—изъ отрывковъ, дѣликомъ взятыхъ изъ неизданнаго еще въ печати долготѣняго, обширнаго труда моего, подъ заглавіемъ:

### „ПОЛНАЯ ЛИТОВСКАЯ МИЕОЛОГІЯ

И

### СВОДЪ МНѢНІЙ РАЗЛИЧНЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ О НЕЙ“.

Трудъ этотъ состоитъ изъ трехъ томовъ:

#### Томъ I.

##### *ВѢРА ЛИТОВСКАГО НАРОДА.*

Часть I. Введеніе въ Литовскую Миѳологію.

- II. Боги въ дѣйствительности чтимые народомъ.
- III. Побочныя божества, созданныя суевѣріемъ народа.
- IV. Божества, придуманныя досужими писателями.

#### Томъ II.

##### *ВѢРОВАНІЯ ЛИТОВСКАГО НАРОДА.*

##### Часть I.

Глава I. Вѣрованія древнихъ Латышей.

- II. Храмы и алтари.
- III. Идолы.

## Часть II.

- Глава I. Загробная жизнь.
- II. Почитаніе огня.
  - III. Клятва или присяга.
  - IV. Космосъ и лѣтосчисленіе.
  - V. Языческое духовенство.

## Часть III.

- I. Языческія жертвоприношенія.
- II. Языческія празднества.
- III. Свадебные обряды.
- IV. Погребальные обряды.
- V. Поминки (праздникъ Ильи).
- VI. Уничтоженіе язычества.
- VII. Дополнительные свѣдѣнія о загадочной смерти Кейстута.

## Томъ III.

*ПОВѢРЬЯ ЛИТОВСКАГО НАРОДА.*

## Часть I.

- Глава I. Этнографія и культъ древняго литовскаго народа.
- II. Законодательство языческо-литовское.
  - III. Легендарные богатыри.

## Часть II.

- I. Повѣрья о растеніяхъ.
- II. Повѣрья о животныхъ.
- III. Повѣрья о прочихъ предметахъ видимаго міра.

## Часть III.

- I. Народные предрасудки.
- II. Народное суевѣріе.
- III. Народное творчество.

Сочиненіе иллюстрировано множествомъ рисунковъ и чертежей \*).

Появится ли когда-нибудь въ печати этотъ колоссальный трудъ—Богу извѣстно. Но для ознакомленія съ нимъ просвѣщенной части общества, помѣщая въ настоящемъ Сборникѣ тѣ статьи, которыя одновременно были напечатаны въ „Вилевскомъ Вѣстникѣ“. По нимъ можно сдѣлать заключеніе о достоинствахъ или недостаткахъ цѣлаго сочиненія.

*Медальсъ.*

---

\*) Оно поднесено мною въ даръ Императорской Академіи Наукъ.

# СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>стр.</i>
I. Загробная жизнь по литовско-языческимъ представленіямъ . . . . .	9
II. Народное творчество . . . . .	16
III. Древне-литовскія повѣрья:	
1) Аистъ, 2) Кукушка, 3) Соловей, 4) Сова, 5) Воронъ, 6) Гусь, 7) Собака, 8) Волкъ, 9) Медвѣдь, 10) Конь, 11) Повѣрья о горахъ.	27
IV. Всемирный Потопъ, по тремъ сказаніямъ .	56
V. Аушлявисъ (Жалтисъ), богъ врачеванія .	63
VI. Праурима, богиня, огня . . . . .	73
VII. Ніола, жена Поклуса, бога ада . . . . .	79
VIII. Упина, богиня рѣкъ . . . . .	82
IX. Гульби, геній—покровитель человѣка . .	85
X. Литовско-языческіе погребальные обряды .	93
XI. Языческія священныя мѣста въ Вильнѣ .	108
XII. Гедиминова гора въ Вильнѣ . . . . .	137
XIII. Алписъ, легендарный богатырь въ гербѣ Вильны . . . . .	146
XIV. Зничъ, мнимый священный огонь Литовскій	157
XV. Кривой городъ въ Вильнѣ . . . . .	165
XVI. Загадочная смерть Кейстута . . . . .	167
XVII. Воздушныя чудеса . . . . .	181
XVIII. Хронографъ Іоанна Малалы въ виленской публичной библіотекѣ . . . . .	190

# I.

## ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ.

По литовско-языческимъ представленіямъ.

---

Мифологія—это поэзія. Она разрываетъ древнія могилы, вызываетъ изъ нихъ поэтическіе образы прошлаго и, какъ изъ рога изобилія, сыплеть вѣру, вѣрованія и повѣрья народа, его преданія, легенды, пѣсни, сказки и другіе цвѣты народнаго творчества. Мифологія—это эпопея духовной жизни народа. Суровая исторія идетъ рука объ руку съ мифологіею, которая, съ своей стороны, вѣнчаетъ безстрастное чело ея своими перлами и цвѣтами. Безъ нея исторія была бы суха и безжизненна. Мифологія оживляла вѣщія струны скальдовъ, бардовъ, менестрелей, меннезингеровъ, трубадуровъ. Безъ мифологіи не было бы поэзіи. Она—мать поэзіи.

Литовцы также имѣли своихъ народныхъ пѣвцовъ *Буртниниковъ*. Быть можетъ между ними были свои Оссіаны, Виргиліи, Гомеры, Данты, но исторія именъ ихъ намъ не сохранила и показываетъ ихъ уже въ то время, когда они перестали быть гордостью и славою своего народа, когда искру небеснаго огня и поэтическія вдохновенія начали продавать на торжищахъ, когда поэзія ихъ была унижена до гаерства и служила лишь

для потѣхи дикой, невѣжественной толпы; словомъ, въ то время, когда поэты снизошли, за деньги, до званія простыхъ штукарей, фокусниковъ, знахарей, скомороховъ.

Самыя представленія литовскихъ язычниковъ о безсмертіи души и о загробной жизни были основаны на поэтическихъ воззрѣніяхъ. Но поэзія ихъ, по грубости нравовъ, сулила имъ въ будущемъ только идеализированныя потребности земной, матеріальной жизни. Ихъ рай, подобно раю Магомета, преобладалъ лишь наслажденіями чувственными. Жрецы общали за гробомъ людямъ добродѣтельнымъ: красавицъ, никогда не старѣющихся женъ, вкусныя кушанья, сладкіе напитки, лѣтомъ—бѣлую одежду, зимою—теплые тулупы, спокойный сонъ на мягкихъ ложахъ, неувядающую молодость и непоколебимое здоровье, постоянное веселье, пляски и игры; кромѣ того, всякая блаженная душа получала въ вѣчности сто новыхъ понятій, изъ которыхъ каждое открывало ему по сто новыхъ блаженствъ, неизвѣстныхъ на землѣ. За то преступныхъ, злыхъ и непослушныхъ жрецамъ людей ждали по смерти страшныя наказанія: боги отбирали у нихъ все, чѣмъ наслаждались они въ жизни, и низвергали ихъ въ *Прагарасъ* (адъ), гдѣ свирѣпый *Поклусъ* жестоко и вѣчно терзалъ ихъ и заставлялъ выть и стонать въ тысячахъ мукъ безъ конца. (*Лука Давидъ, ч. I, стр. 20. Дусбургъ, ч. III, гл. 5*).

Литвины вѣровали, что различіе состояній, существующее на землѣ, сохранится и въ вѣчности. А потому они и были убѣждены, что князья и бояре будутъ князьями и боярами и по смерти, воины останутся воинами, ремесленники — ремесленниками, земледѣльцы — земледѣльцами и что за гробомъ каждый будетъ нуждаться въ томъ, что составляло при жизни необходимость его существованія. Поэтому, съ умершими князьями и знатными людьми сжигались на кострахъ рабы,



рабыни, лошади, собаки, соколы, драгоценности, одежды, броня, мечь, кошье, лукъ со стрѣлами, пращи и другіе предметы, которые любилъ покойникъ. Вѣрова- ніе это очень сходно съ индійскимъ, связаннымъ съ сожженіемъ вдовъ. Съ прославившими себя въ бояхъ героями сжигали нерѣдко и плѣнниковъ, какъ, напри- мѣръ, съ тѣломъ Гедимина. Съ тѣлами же ремесленни- ковъ и земледѣльцевъ погребались разные ремесленные инструменты, лемеша отъ сохъ, топоры, посуда и дру- гія орудія, которыми они зарабатывали себѣ при жизни хлѣбъ. (*Юцевичъ, стр. 286, Ярошевичъ, ч. I, стр. 186, Нарбутъ, ч. I, стр. 383*).

Литовцы вѣрили, что гдѣ-то на Востокѣ существо- вала гора блаженства, *Анифіель, Анифіелисъ*, на кото- рую когда то придетъ какой то всемогущій богъ, боль- шій изъ всѣхъ боговъ, судить добрыя и злыя дѣла люд- скія, для чего и возсядетъ на этой горѣ, высочайшей, крутой, гладкой какъ стекло, на каковую гору души умершихъ могутъ взобраться и держаться на ней не иначе, какъ при помощи медвѣжьихъ или рысьихъ когтей. Поэтому, на костры и въ могилы клали означенные когти.

По этой причинѣ (*Нарб., стр. 355*), люди преклонныхъ лѣтъ не обрѣзывали собственныхъ ногтей, но запускали ихъ. Молодые же люди, когда стригли ихъ, то не вы- брасывали, а кидали въ огонь, такъ какъ вѣрили, буд- то ногти пригодятся по смерти и ихъ со временемъ легко будетъ найти въ горнемъ пространствѣ, куда они будутъ занесены дымомъ. Но если бы ктонибудь разбрасывалъ свои ногти, то по смерти пришлось бы ему долго оты- скивать ихъ, до тѣхъ поръ, пока не нашель бы по- слѣдняго обрѣзка, такъ какъ безъ нихъ онъ рѣшительно обойтись не могъ. Отсюда возникло повѣрье, будто тѣни умершихъ нерѣдко скитаются между домами и въ боль- шинствѣ случаевъ замѣчаются на кучахъ мусора и сора, гдѣ онѣ какъ будто чего то ищутъ.

Бѣднякъ утѣшалъ себя тѣмъ, что онъ легче всякаго богача взберется на гору страшнаго суда, преддверію вѣчнаго блаженства, которымъ будетъ онъ наслаждаться въ кругу своихъ дѣдовъ, въ весельи и свободѣ и будетъ огражденъ отъ преслѣдованій русскихъ, поляковъ и нѣмцевъ и самъ начнетъ повелѣвать меченосцами.

Чѣмъ человекъ былъ богаче, тѣмъ труднѣе было ему взобраться на *Анабіеласъ*, потому что земныя богатства отягощали его душу; хотя же звѣриныя когти, оружіе, лошади и рабы и помогали душѣ подниматься на гору, однако, если она была грѣшна предъ богами, то на нее нападалъ жившій подъ горою драконъ *Вижунисъ*, отнималъ отъ нея всѣ богатства и ее самое, наравнѣ съ душою какого нибудь грѣшника - бѣдняка, предавалъ на волю буйныхъ вѣтровъ, которые и уносили ее въ адъ.

Такимъ образомъ, Литовцы имѣли понятіе о *ратъ* и *адъ*. Первый, по ихъ мнѣнію, находился на небѣ (*Дунгустъ*), далеко, на сѣверномъ концѣ „млечнаго (по-литовски „птичьаго“) пути“. Тамъ души праведныхъ пребывали въ жилищѣ боговъ, наслаждались бесѣдою съ ними и вмѣстѣ пили *Алусъ* (медъ или пиво), этотъ бессмертный напитокъ боговъ, соотвѣтствующій древней амброзіи, малвази, нектару. Второй, т. е. адъ, находился въ преисподней, подъ землею.

Въ то же время вѣрили, что неизвѣстный богъ живетъ на *Дунгустъ*, судить людей еще при жизни ихъ, а со смертію назначаетъ душамъ ихъ награды или наказанія.

Но вѣра въ бессмертіе души, при ученіяхъ религіи, исполненной заблужденій и суевѣрія, имѣла, какъ сказано выше, превратныя понятія о загробной жизни душъ. Непоколебимо убѣжденные въ награду или наказаніе по смерти, Литовцы чрезвычайно заботились о будущей судьбѣ своей души, а потому умирающіе завѣщали всегда своимъ роднымъ, какъ можно строже исполнять

надъ ними всѣ обряды погребенія и въ особенности— ходатайствовать у жрецовъ, чтобы они приняли всѣ мѣры для проведенія души въ блаженную вѣчность. Воля умирающаго была исполняема съ строжайшею точностію, иначе, неисполнившихъ ее ждало мщеніе боговъ, въ которомъ *Поклусъ* не замедлялъ показывать свою силу.

Вѣровали еще, что душа почившаго, тотчасъ послѣ похоронъ, проходила мимо жилища жреца и даже самаго верховнаго жреца, въ томъ видѣ, въ какомъ было погребено ея тѣло, давала ему знать о своемъ присутствіи, оставляя что нибудь изъ вещей, съ которыми оно было похоронено, или изображая на воротахъ жреца какой нибудь знакъ, руно или хотя зарубку оружіемъ. Въ такомъ случаѣ жрецы обладали возможностью спрашивать тѣнь, чего еще не доставало ей для пріобрѣтенія жизни вѣчной, и затѣмъ указывали ей и пути къ мѣсту вѣчнаго упокоенія. Родственники покойнаго ничего не щадили для жрецовъ за подобную услугу (*Нарб., стр. 384*).

Очевидно, подобныя вѣрованія возбуждали ненасытную жадность корыстолюбивыхъ жрецовъ, которымъ языческо-литовская религія и обязана своими темными сторонами и многими варварскими и отвратительными обрядностями.

Но рядомъ съ этими представленіями въ литовскомъ народѣ уживалась и вѣра въ метампсихозъ или переселеніе душъ въ новорождаемыя тѣла людей и даже прочихъ животныхъ. По *Нарбутту (стр. 383)*, Литовцы переняли это вѣрованіе отъ предковъ, индо-скиѣской отрасли (!). Слѣды этого вѣрованія, по свидѣтельству лѣтописца XIII столѣтія *Кадлубка (кн. IV, стр. 19)*, сохранились и въ позднѣйшее время между простымъ народомъ, который вѣрилъ, будто душа младенца или человѣка безумнаго, какъ не пріобрѣвшая совершенства, необходимаго для вѣчной жизни, и потому не заслужив-

шая еще ни награды, ни наказанія, осуждена, впредь до новаго воцлощенія, витать въ горнемъ пространствѣ по волѣ вѣтровъ.

Но современникъ Кадлубка, тевтонскій лѣтописецъ Дусбургъ, а съ нимъ и Стрыйковскій, писатель XVI столѣтія, о вѣрѣ въ метампсихозъ не упоминаютъ ни однимъ словомъ. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что Литовцы и особенно Ятвяги вѣрили въ метампсихозъ только до XIII столѣтія, т. е. до большаго сближенія съ народами Европы.

Юцевичъ („Литва“, стр. 128) доказываетъ, что, по народнымъ повѣрьямъ, душа злого человѣка переселяется въ нетопыря, который родится въ могильныхъ склепахъ изъ мертвыхъ тѣлъ и живетъ 300 лѣтъ; по истеченіи же этого срока, снова переселяется въ человѣка и создаетъ изъ него уже честную и всѣми уважаемую личность. Оттого, будто бы, правнуки всегда бывають лучше своихъ прадѣдовъ.

Повѣрье въ переселеніе души въ нетопыря, безъ сомнѣнія, народилось уже въ христіанскую эпоху, наравнѣ съ существующими до нынѣ повѣрьями въ разныхъ оборотней.

Выше было сказано о тѣняхъ, скитающихся по смерти, для собиранія обрѣзковъ собственныхъ ногтей. По суевѣрію народному, современному, впрочемъ, человѣчеству, тѣни бродили по свѣту не для одной только этой цѣли. Нѣкоторые старые скупцы, не желая, чтобы богатства ихъ доставались людямъ, остающимся въ живыхъ, и полагая, что сами будутъ пользоваться ими по смерти, зарывали свои сокровища въ землю, съ разными заклятіями и по смерти стерегли эти клады сами, въ образѣ разныхъ чудовищъ и злыхъ духовъ. Къ повѣрью этому даетъ поводъ неоднократная находка въ землѣ сосудовъ съ древними монетами, такъ называемые „дающіеся клады“. Въ народной демонологіи есть много

средствъ для отысканія кладовъ и овладѣнiя ими, но набожный Литовецъ знаетъ, что отысканiе, при помощи этихъ средствъ, клада сопряжено съ погибелью души и потому отрецивается отъ нихъ.

Бродягъ также по свѣту неотомщенныя тѣни погибшихъ отъ тайной руки убійцы и требующiя мщенiя, равно такiя, надъ которыми не былъ почему либо совершенъ обрядъ погребенiя. Въ существованiе сихъ послѣднихъ тѣней вѣрили и римляне (*Гораций*, кн. I, ода 28, въ которой говорится о тѣни философа *Архиты*).

Но самыми зловредными тѣнями были *унгиты* или *вампиры*, которые проникали ночью въ человѣческiя жилища и высасывали людскую кровь. Такiе духи назывались по-жмудски *Кемисъ*, а по-латынски *Кемис* (Нарб., 357). Для уничтоженiя этихъ злыхъ духовъ, народное творчество придумало много якобы самыхъ дѣйствительныхъ средствъ.

Они тождественны въ сказкахъ всѣхъ вѣковъ и народовъ.

## II.

# НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Народнымъ творчествомъ нельзя назвать сочиненій разныхъ ученыхъ писателей и поэтовъ, хотя бы сочиненія ихъ и были писаны народнымъ языкомъ и въ народномъ духѣ. Всѣ подобныя произведенія всегда будутъ чѣмъ-то дѣланымъ, не самороднымъ, не первобытнымъ. Истинное народное творчество живетъ въ самомъ народѣ и познается по тому только, что оно не имѣетъ никакихъ ученыхъ формъ, никакихъ границъ и почвы для фантазій, а нерѣдко даже и смысла, тогда какъ дѣланая поэзія, на какой бы фантазій она не строилась, немыслима безъ послѣдовательности и строгихъ логическихъ законовъ. Народныхъ поэтовъ быть не можетъ. Поддѣлывающіеся подъ народную музу поэты суть только собиратели поэзіи, которые заключаютъ ее въ свои риторическія формы и показываютъ намъ алмазы, уже очищенные отъ природной ихъ коры. Они отличаются отъ составителей разныхъ сборниковъ народнаго творчества тѣмъ, что составители даютъ намъ сырой матеріалъ, не перегнанный чрезъ реторты логики и риторики—и заслуга послѣднихъ, конечно, дороже для этнографіи. Истинные народные поэты живутъ въ самомъ народѣ,

но безъ имени и спеціальности занятій поэзію. Или имъ—легионъ. Кто и когда сочинилъ извѣстную пѣсню, балладу, легенду, сказку—народная память объ этомъ не заботится. Одинъ, при какомънибудь подходящемъ случаѣ или особомъ вдохновеніи, придумалъ, другой додалъ, десятый усовершенствовалъ, сотый варьировалъ какое либо произведеніе народной музы—и вотъ оно, передаваясь изъ устъ въ уста, переживаетъ вѣка и оказывается никѣмъ не сочиненнымъ, а родившимся изъ ничего, изъ атомовъ, какъ рождается въ небѣ облако, какъ въ облакѣ молнія.

Возьмемъ недалекій примѣръ.

Извѣстно, что русскіе рабочіе, при поднятіи или при передвиженіи тяжестей, когда нуженъ дружный напоръ всѣхъ рабочихъ силъ, поютъ обычную свою „Дубинушку“, которая не имѣетъ особаго склада пѣсни, но сочиняется примѣнительно къ условіямъ работъ; напри-  
мѣръ:

Мы послѣдню сваю вторимъ,

Сѣвши, трубочки покуримъ.

Эй, дубинушка, ухни! и т. д.

Или:

Мы подрядчика уважимъ:

Нутка шишь ему покажемъ!

Эй, дубинушка, и т. д.

Случилось, что во время работъ на кукуевскомъ провалѣ, одинъ изъ инженеровъ, наблюдавшихъ за работами по открытію погибшихъ, стоялъ на обрывѣ и чистилъ апельсинъ. Вдругъ въ умѣ запѣвалы созрѣла пѣсня:

Бдятъ баре апельсины,

А несчастные въ трясины (ѣ)!

Эй, дубинушка, и т. д.

Если бы спросить потомъ мужичковъ: кто выдумалъ этотъ запѣвъ? каждый отвѣтилъ бы: „а Господь его

вѣдасть! тамъ на Кукуевкѣ ребята пѣли“. Много, много, если бы сказалъ ктонибудь: „придумалъ Афонька, шустрый былъ парень, а кто онъ такой—Господь его знаетъ: мало-ль народа отовсюду приходитъ на работы“!—Да и самъ Афонька, конечно, давно забылъ свою выдумку, какъ на другихъ работахъ непримѣнимую.

Такъ родится и всякая пѣсня!

Можетъ ли послѣ этого быть рѣчь о народномъ поэтѣ?

Но не о русской пѣснѣ идетъ здѣсь рѣчь: она уже разобрана, изслѣдована и заявлена образованному міру многими авторитетными умами, какъ въ этнографическомъ, такъ и въ музыкальномъ отношеніяхъ. Коснемся здѣсь непочатой области народнаго творчества, невѣдомаго Россіи—творчества литовскаго.

Пѣсня есть историческій памятникъ, свидѣтельствующій о характерѣ народа. Пѣсни—это руны, это гіероглифы, подающіе свой голосъ изъ глубины мрака вѣковъ. Въ пѣсняхъ потомки слышатъ голосъ своихъ предковъ, познаютъ ихъ мысли и чувства, ихъ страданія и радости. Народы воинственныя, какъ готты и норманны, завѣщали потомкамъ въ сагахъ своихъ все ужасы войны, какъ народы страстные къ войнѣ. Вспомнимъ „Das Niebelungenlied“, „Hulda-Saga“, „Эдду“ и даже „Weg-Weiser“, или военно-походные журналы меченосцевъ, въ періодъ опустошительныхъ наѣздовъ ихъ на Литву.

Таковыми же представляли себѣ древніе народы и литовцевъ. Прежніе писатели изображали ихъ дикими варварами, темною и безбожною толпою, стадомъ кровавадныхъ звѣрей. Но народы знали ихъ только во время войны, на которую сами вызывали ихъ изъ глубины лѣсовъ и дебрей непроходимыхъ, а въ войнѣ каждый народъ, особенно въ древніе вѣка, являлся дикимъ и свирѣпымъ.



Но сравнимъ скандинавскія саги и литовскія пѣсни (*дайноса*).

Въ сочиненіи „Черты изъ исторіи и жизни литовскаго народа“ (*П. Жуковника, стр. 91*) говорится:

„Если бы жажда крови, отмщенія и любовь къ битвамъ дѣйствительно господствовали въ сердцахъ древнихъ литовцевъ, то эти чувства должны были непременно отозваться въ памятникахъ народныхъ страстей, добродѣтелей и слабостей, т. е. въ пѣсняхъ. Въ готическихъ и скандинавскихъ сагахъ виденъ въ полной мѣрѣ народъ, дышашій войною. Тамъ на всякомъ шагу бой, кровопролитіе, стукъ оружія, стоны раненныхъ и умирающихъ. Въ литовскихъ пѣсняхъ видно совершенно противное: тамъ вѣютъ теплые вѣтры, поютъ дѣвы, цвѣтутъ луга, лиліи, розы; на могилахъ плачутъ осиротѣвшія дѣти; родители—дочери, братъ—брату подають руки и благословляютъ другъ друга. Любовь не обезображена нигдѣ не только безстыдствомъ, но даже неприличіемъ и ни одна изъ древнихъ пѣсенъ не оскорбляетъ цѣломудреннаго уха“.

Стало быть, народъ литовскій, по природѣ своей, не былъ воинственнымъ и кровожаднымъ.

Тотъ же ~~Жуковникъ~~ Жуковникъ, на стр. 112, пишетъ:

„Древніе литовцы чрезвычайно любили пѣніе. Пѣсня сопровождала всѣ случаи жизни—и радостные, и горестные, и торжественные. У литовцевъ пѣли: жрецы, дѣвушки, странствующие нищіе и гадатели (*Буртиниски*, народные пѣвцы, скальды). Пѣли во время свадьбы, похоронъ, пировъ, жатвы, жертвоприношеній, разныхъ празднествъ и, безъ сомнѣнія, выступая въ походъ.

Пѣсня во время работы, а можетъ быть при религиозныхъ обрядахъ, называлась *Гудоіймасъ*, т. е. торжественная, важная.

*дѣлме*  
*Гудоіймасъ* *это сага*

Пѣсня любовная, грустная—*Дайновимась*. Она сопровождалась хоромъ и въ такомъ случаѣ называлась *Сокимась*, отъ *Сокъ*—хоръ.

При хозяйственныхъ работахъ начинала пѣніе начальница хора (запѣвальщица); прочія присоединялись къ ней и вторили.

Есть пѣсни, составленныя въ видѣ вопросовъ и отвѣтовъ, для чего, вѣроятно, хоръ раздѣлялся на двѣ части.

До насъ дошелъ только одинъ родъ литовскихъ пѣсень—*Дайносъ*, собранныхъ профессоромъ, докторомъ богословія *Рези* (Rhesa) и изданныхъ въ переводѣ на нѣмецкій языкъ, въ Кенигсбергѣ, въ 1818 году. Въ этихъ пѣсняхъ изображаются чувства спокойныя, любовныя, семейныя. Въ иныхъ пробиваются темныя преданія о какомъ либо печальномъ приключеніи и съ необыкновенною нѣжностію выражена скорбь объ утратѣ милыхъ лицъ и горе сиротства.

Кромѣ, такъ называемыхъ *Дайносъ*, существовали и другія пѣсни, относящіяся къ случаямъ, на которые были составляемы. Такими были: *Верксме-Гъсѣт*—пѣсни плача; *Марчо-Гъсѣт*—свадебныя пѣсни; *Джаукемо-Гъсѣт*—веселыя пѣсни; *Мылеймо-Дайносъ*—пѣсни любви.

Въ погребальныхъ пѣсняхъ, такъ называемыхъ *Райдасъ*, воспѣвалась скорбь о милыхъ лицахъ. *Райдасъ*, распѣваемая жрецами при погребеніи витязей, заключали въ себѣ повѣствованія о ихъ подвигахъ, о побѣдоносномъ восходѣ на гору вѣчности и будущую жизнь ихъ, вмѣстѣ съ отцами, въ обществѣ боговъ.

Литовцы имѣли также историческія пѣсни.

Прелесть древнихъ литовскихъ пѣсень обратила на себя вниманіе ученыхъ иноземцевъ. Въ первый разъ явились онѣ въ описаніи путешествія въ Москву Агасфера *Бранда* въ 1689 году. Впослѣдствіи Филиппъ *Руикъ*

и профессоръ *Resa* (*Rhesa*) издали собраніе литовскихъ пѣсень, которыхъ достоинству отдавали справедливость знаменитѣйшіе нѣмецкіе литераторы *Лессингъ* и *Гердеръ*.

Что касается до размѣра древнихъ литовскихъ пѣсень, то онѣ чаще всего писались *смысленнымъ размѣромъ* (?) и въ нихъ не было вовсе рѣимъ; послѣднія являются уже въ позднѣйшихъ пѣсняхъ, какъ подражаніе инымъ языкамъ. Изъ числа новыхъ пѣсень, находящихся по нынѣ въ употребленіи у литовцевъ, нѣтъ ни одной безъ рѣимъ“.

Ясно, что эти послѣднія пѣсни отнюдь не народныя, а *дѣланныя*; прежнія же писались не *смысленнымъ* размѣромъ, а безъ всякаго размѣра.

Въ томъ же сочиненіи Букольникъ приводитъ не мало литовскихъ пѣсень: но такъ какъ онѣ всѣ переведены на русскій языкъ съ польскаго, то, разумѣется, не могутъ имѣть той цѣны, какъ если бы были переведены прямо съ литовскаго. Такую же цѣну имѣютъ переводы на русскій языкъ литовскихъ пѣсень *Н. Берга* (съ польскаго, Москва, 1854) и *Фортунатови* и *Миллери*, какъ *переведенныя* съ нѣмецкаго. Разумѣется, всякій переводъ—не то, что оригиналь, и если первый переводъ отъ него отдалается, то второй переводъ, т. е. переводъ съ перевода, отходитъ отъ оригинала еще дальше.

Болѣе всѣхъ оказали услугу этнографіи Литвы, по части собранія литовскихъ пѣсень, Антонъ и Иванъ *Юшкевичи*. Но они не принесли никакой пользы русской литературѣ, потому что Антонъ Юшкевичъ собралъ, а Иванъ Юшкевичъ издалъ въ Казани въ 1880—1882 годахъ три тома пѣсень, безъ перевода на русскій языкъ, озаглавивъ:

„*Lietuviškos Dainos uzrašytos par A. Juskeviče veduonos apigardoje*“.

Ранѣе, въ 1870 году, также въ Казани, изданы Антономъ Юшкевичемъ „*Свадебные обряды Виленскихъ*“)

Литовцевъ“, безъ русскаго же перевода; наконецъ „Литовскія свадебныя народныя пѣсни“, записанныя Антономъ Юшкевичемъ, изданы опять же Иваномъ Юшкевичемъ въ С.-Петербургѣ, въ 1883 г. XXIV + 898. Впрочемъ, Иванъ Юшкевичъ издалъ въ С.-Петербургѣ, въ 1867 году (Прилож. къ XII тому записокъ Имп. акад. наукъ, № 1), „Литовскія народныя пѣсни съ переводомъ на русскій языкъ“; но эта брошюрка всего только въ 43 страницы, съ 33-мя пѣснями. Стало быть, заслуга Ивана Юшкевича въ этомъ случаѣ очень не велика. Текстъ въ этой брошюрѣ писанъ русскимъ шрифтомъ.

Вотъ одна изъ пѣсней этого сборника:

*оригиналъ перевода*

*Я сѣяла руту, Я сѣяла мяту,  
Я сѣяла лилію,  
Я посѣяла свои юные дни,*

Я сѣяла руту, я сѣяла мяту,  
Я сѣяла лилію,  
Я посѣяла свои юные дни,  
Вмѣстѣ съ рутою.

*перевод  
о годичи в  
швейцаріи  
1893г.*

Взросла рута, выросла мята,  
Взросла лилія,  
Взросла моя молодость,  
Вмѣстѣ съ рутою.

Росла рута, росла мята,  
Росла лилія,  
Росла моя молодость,  
Вмѣстѣ съ рутою.

Цвѣла рута, цвѣла мята,  
Цвѣла лилія,  
Цвѣла моя молодость,  
Вмѣстѣ съ рутою.

Я срывала руту, я срывала мяту,  
Я срывала лилію,  
Я срывала свои юные дни,  
Вмѣстѣ съ рутою.

---

Я плела руту, я плела мяту,  
Я плела лилію,  
Я плела свои юные дни,  
Вмѣстѣ съ рутою.

---

Я носила руту, я носила мяту,  
Я носила лилію,  
Я носила свои юные дни,  
Вмѣстѣ съ рутою.

---

Вяла рута, вяла мята,  
Вяла лилія,  
Вяла моя молодость,  
Вмѣстѣ съ рутою.

---

Сохла рута, сохла мята,  
Сохла лилія,  
Сохла моя молодость,  
Вмѣстѣ съ рутою.

---

Прошла рута, прошла мята,  
Прошла лилія,  
Прошла моя молодость,  
Вмѣстѣ съ рутою.

---

Изъ всѣхъ литовскихъ пѣсенъ, эта, быть можетъ, самая поэтичная. Сколько слезъ, горя и разочарованія немолодой дѣвушки сокрыто въ ней! Это—истинно голосъ наболѣвшей души. Изъ цѣлаго склада пѣсни видно, что она не дѣланная, не новѣйшее произведеніе какого нибудь заправскаго поэта, а безыскусственный, глубокій вопль простого сердца. Оригиналь ея не имѣетъ рѣймъ, хотя и выдерживаетъ размѣръ *хорей*.

Вотъ первый куплетъ ея въ оригиналѣ:

Сѣю руте, сею мете,  
Сѣю лилѣле,  
Сѣю саво яунась дьенась,  
Драуге су рутелемъ.

Если не считать сборниковъ Антона Юшкевича, бесполезныхъ для русской литературы, то можно смѣло сказать, что намъ гораздо болѣе извѣстна латышская муза, нежели литовская и жмудская, благодаря громаднымъ заслугамъ виленскаго писателя И. Я. *Спрогиса* и московскаго *Ө. Я. Трейланда (Бривземниакса)*, которые въ сборникахъ своихъ дали намъ полныя этнографическія свѣдѣнія о латышскомъ народѣ, до мельчайшихъ подробностей образа его жизни, мыслей, повѣрій, предразсудковъ, сказокъ, легендъ, пѣсенъ и другихъ произведеній народнаго творчества. Оба эти писателя создали трудами своими цѣлую литературу. Чрезвычайно важный вкладъ этотъ въ науку одѣненъ своевременно, по высокому достоинству своему, ученымъ міромъ и поставилъ Спрогиса и Трейланда на ряду съ знаменитѣйшими этнографами Россіи. Между тѣмъ, Литва и Жмудь еще ждутъ своего этнографа. Польская литература, въ отношеніи Литвы и Жмуди, богаче русской; русская же богаче польской по отношенію къ латышскому творчеству.

Сборникъ Спрогиса носитьъ названіе: „Памятники латышскаго народнаго творчества“. Вильна. 1868.

Въ предисловіи къ этому изданію Спрогисъ говорить:

„Латышская пѣсня была въ большомъ уваженіи еще въ глубокой древности, о чемъ одинаково свидѣтельствуютъ—древнее народное преданіе и сохранившіяся доселѣ въ устахъ народа пѣсни. Тогда все начиналось и сопровождалось пѣніемъ. Пѣли молодые, пѣли старые, пѣли въ будни и въ праздники, пѣли за работою и во время отдыха. И пѣсня эта была такъ обширна, что обнимала весь міръ латыша. Не было ни одного предмета въ латышскомъ хозяйственномъ быту, даже въ кругу отвлеченныхъ понятій древняго латыша, который бы не былъ обставленъ поэтическими образами. Со всѣми этими предметами древняя латышка ведетъ свою задушевную бесѣду; она смѣется, плачетъ съ ними, сѣтуетъ о своемъ завѣтномъ горѣ, проситъ у нихъ совѣта, помощи, добивается у нихъ будущаго. Тогда для латышей, въ маломъ образѣ, былъ свой *золотой, идиллическій вѣкъ*. Но съ тѣхъ поръ, какъ на латышскую землю спустился злой рокъ въ образѣ нѣмецкихъ рыцарей, употребленіе латышской пѣсни, равно какъ и всѣхъ другихъ поэтическихъ памятниковъ, стало уменьшаться, и можно положительно сказать, что въ настоящее время, когда нѣмецкое господство надъ латышами достигло зенита своего величія, едва ли одна тысячная доля сохранилась изъ того, чѣмъ такъ необъемлемо богата была поэтическая старина латышей“.

Трейландъ, въ 1872 году, также издалъ сборникъ латышскихъ пѣсень. Затѣмъ, въ VI книгѣ „Трудовъ этнографическаго отдѣла“ (Москва. 1881) онъ же издалъ „Матеріалы по этнографіи латышскаго племени“, въ которыхъ заключаются: 1) „латышскія народныя пословицы и поговорки“; 2) „латышскія народныя загад-

ки“; 3) „латышскіе народныя заклинаніе и наговоры“, и 4) „народное врачеваніе и колдовство латышей дѣйствиємъ“. Наконецъ, въ 1-мъ выпускѣ „Сборника матеріаловъ по этнографіи“, издаваемаго при Дашковскомъ этнографическомъ музеѣ (въ Москвѣ, въ 1885 году) Трейландъ собралъ огромное число латышскихъ народныхъ сказокъ.

Изъ всѣхъ сборниковъ этихъ выбирать что нибудь трудно; изъ нихъ нужно—или взять все, или не брать ничего.

А потому и отсылаемъ къ нимъ читателя.



### III.

## ДРЕВНЕ - ЛИТОВСКІЯ ПОВѢРЬЯ.

### 1. Аистъ.

*Ну - ну ...*  
Почему всякое глупое вѣрованіе называется *пред-разсудкомъ*, когда вѣрнѣе слѣдовало-бы называть его *по-разсудкомъ*, такъ какъ вѣрить во всякій очевидный вздоръ можно только потерявши рассудокъ, — *по-разсудкѣ*?

Мы, однако, отнюдь не смѣшиваемъ между собою *повѣрья*, *предразсудки* и *суевѣрія* и въ настоящемъ сочиненіи даемъ имъ отдѣльныя рубрики. Онѣ совсѣмъ не одно и то же.

*Повѣрье* есть вѣрованіе въ легенду, сказку, какъ, на примѣръ, въ то, что извѣстное дерево, птица, звѣрь, были прежде человѣкомъ, а потомъ за то-то богами превращены въ настоящій видъ; что такой то валунъ принесенъ, съ такою-то цѣлюю, нечистою силою и т. п.

*Предразсудокъ* есть легкомысленное убѣжденіе, не основанное на здоровомъ смыслѣ, во вліяніи разныхъ естественныхъ случайностей и явленій на дѣла человѣка. Такъ, на примѣръ: не начинать никакого дѣла въ тяжелый день; стараться встрѣтить новый мѣсяцъ непременно

съ правой стороны; вернуться съ пути, если заяц перебѣжитъ дорогу; по ворожбѣ предугадывать свое будущее и т. п. — это уже не *повѣрье*, а просто *предразсудокъ* или вѣрнѣе — *безразсудокъ*.

*Суевѣріе* — это отнюдь не то, что *повѣрье* и *предразсудокъ*. Суевѣріе есть прочная вѣра, сопряженная съ тайнымъ страхомъ во все сверхъестественное, чудесное, какъ, на примѣръ: въ хожденіе мертвецовъ, въ существованіе вѣдьмъ, въ разныя чары и заклинанія, въ присутствіе живой демонической силы въ какомъ нибудь деревѣ, животномъ, лѣсу, озерѣ и т. п. Эта вѣра ничѣмъ не отличается отъ религіозной и нерѣдко бываетъ сильнѣе ея.

Оттого наукѣ и религіи гораздо труднѣе бороться съ *суевѣріемъ*, нежели съ *повѣрьемъ* и *предразсудкомъ*. Послѣдніе уступаютъ образованію и уничтожаются имъ; а *суевѣріе* впитывается въ плоть и кровь народа и неразлучно съ религіозными вѣрованіями его. Оно не уничтожается даже безвѣріемъ.

Встарину всѣ животныя и растенія говорили голосомъ и языкомъ человѣческимъ. Объ этомъ свидѣлствуютъ даже такіе знаменитые авторитеты, какъ Езопъ, Лафонтенъ и Крыловъ. Животныя занимались всякимъ человѣческимъ ремесломъ и въ томъ числѣ даже литературою, которая и носила тогда названія отъ имени авторовъ. Была литература воловьѣя, медвѣжьѣя, и даже ослиная. А какъ дикихъ животныхъ было гораздо больше, нежели домашнихъ, то и въ литературѣ, по большому числу дикихъ писателей, преобладала дичь.

Легенды о такъ называемыхъ *превращеніяхъ* людей въ различныхъ животныхъ чрезвычайно изобильны въ Литвѣ. По народнымъ повѣрьямъ (*Людвигъ-изъ-Покевья. „Литва“, стр. 46*), каждый звѣрь, всякая птица, были когда то людьми, но въ наказаніе за ослушаніе воли боговъ, превращены въ настоящій ихъ видъ. Не всегда,

однако же, преступленіе было поводомъ къ такимъ превращеніямъ: страстная любовь, неутѣшное горе по утратѣ близкихъ сердцу людей, болѣзни, долгія страданія и т. п. очень часто бывали причиною, что боги, сжалившись надъ слабостію человѣческой природы, превращали несчастныхъ въ другія существа—даже въ деревья.

Аиста называютъ: собственно въ Литвѣ *стеркусъ*, на Жмуди—*гандрасъ* и *гигжутисъ*, а въ прусской Литвѣ—*гиткоисъ*. Это говоритъ тотъ же Людвигъ-изъ-Покевья (Юцевичъ) на стр. 74 и прибавляетъ слѣдующую легенду о происхожденіи аиста.

*Прамжимасъ*, по созданіи міра, замѣтилъ, что онъ населилъ землю слишкомъ большимъ числомъ разныхъ вредоносныхъ гадовъ и пожалѣлъ о своей ошибкѣ; желая же поправить ее, собралъ всѣхъ гадовъ въ огромный кожаный мѣшокъ и приказалъ одному сильному человѣку *Стонелису* утопить мѣшокъ въ ближайшемъ озерѣ, причѣмъ строжайше запретилъ ему развязывать мѣшокъ и заглядывать внутрь его. Стонелисъ, взявъ мѣшокъ на плечи и приближаясь къ озеру, подумалъ: „что же тутъ будетъ дурного, если я загляну въ мѣшокъ? Можетъ быть тамъ какія нибудь сокровища?“ Но какъ только развязалъ мѣшокъ, всѣ гады выскочили изъ него и разсѣялись по всему лицу земному. Испуганный этимъ происшествіемъ и огорченный своимъ непослушаніемъ божескому повелѣнію, Стонелисъ возвратился къ богу, который въ то время грѣлся у огня, разложеннаго изъ еловыхъ вѣтвей—и трепеща, сознался въ своей винѣ. Разгнѣванный богъ схватилъ горѣвшее полѣно, ударилъ имъ преступника и превратилъ его въ *аиста*, съ тѣмъ, чтобы онъ всю жизнь собиралъ пресмыкающихся, которыхъ, по собственной винѣ, распустилъ по землѣ. По этой причинѣ аистъ до сихъ поръ ловитъ гадовъ, а черное пятно у него на хвостѣ осталось въ память того удара, который получилъ онъ горячею головнею.

Есть и другое преданіе объ аистѣ—и мы не встрѣчали еще его въ печати, а именно:

Когда то *аистъ* и *волкъ* содержали корчмы въ одномъ мѣстечкѣ. Волкъ былъ тароватъ и давалъ водку всѣмъ въ долгъ; аистъ, напротивъ, былъ скупъ и продавалъ ее только за чистыя деньги. Когда же послѣдовало воспрещеніе животнымъ торговать „распивочно и на выносъ“ и монополія этой торговли предоставлена была только человѣку, то аистъ и волкъ, разумѣется, должны были ликвидировать свои дѣла, вслѣдствіе чего аистъ сдѣлался богатымъ, а волкъ, за свою довѣрчивость, нищимъ. Кредиторы волка, хотя и увѣряли его, что капиталы его находятся „въ вѣрныхъ рукахъ“, однако, волку отъ этого отнюдь не стало легче. Прощаясь съ аистомъ, пьяницы, за скарденность его, вылили на него бочку дегтю, но онъ такъ счастливо увернулся, что деготь попалъ ему только на хвостъ. Счастливый, что могъ спасти свои деньги, онъ улетѣлъ съ ними въ пространство; но при перелетѣ чрезъ одно болото, мѣшокъ съ деньгами какъ то выскользнулъ у него изъ лапъ и упалъ въ воду. Должно быть онъ очень глубоко увязъ, когда аистъ до сихъ поръ бродитъ по болоту и ищетъ его съ особымъ вниманіемъ. Волкъ же, потерявъ всякую надежду на уплату ему „вѣрными руками“ долга, распоряжается съ кредиторами по своему: безъ всякаго судебного приговора и исполнительнаго листа забираетъ за долгъ—у кого теленка, у кого овцу, а если долгъ поважнѣе, то и коня или корову. Конечно, самоуправство это и ему, такъ же, какъ и людямъ, не всегда проходитъ безнаказанно.

Мѣста, на которыхъ аисты вьютъ гнѣзда, считаются въ Литвѣ счастливыми, и потому всякій старается приманить въ свою мѣстность этого друга дома и охранителя (по мнѣнію простонародія) отъ ударовъ грома и градобитія, устраивая для него гнѣздо на крышѣ дома.

или на ближайшемъ деревѣ. Для гнѣзда достаточно укрѣпить на данной высотѣ старое колесо отъ телѣги.

Въ народѣ, по словамъ Юцевича, живетъ повѣріе, будто аистъ каждую весну выбрасываетъ изъ своего гнѣзда или пыленка, или яйцо и что въ первомъ случаѣ это предвѣщаетъ неурожай, а въ послѣднемъ изобиліе плодовъ земныхъ. Между тѣмъ, этого никогда не бываетъ, но случается совсѣмъ иное, когда мальчишки, выкрадывая одно изъ аистовыхъ яицъ, подкладываютъ на мѣсто его гусиное, индючье или утиное яйцо.

Вотъ достовѣрный фактъ, видѣнный мною лично:

Въ деревнѣ Сильпіи, Келецкой губерніи, въ 1843 году, было аистоно гнѣздо на высококомъ сухомъ деревѣ. Весною прилетѣла пара аистовъ и заняла его. Когда самка положила яйца, деревенскіе мальчишки, воспользовавшись моментомъ отлета на кормъ обоимъ аистовъ, подмѣнили одно яйцо гусинымъ. По выводѣ птенцовъ, птицы подняли страшный крикъ; вслѣдъ затѣмъ самецъ исчезъ въ воздухѣ, а самка стала на одной ногѣ и уныло повѣсила голову. Это было рано утромъ. Часамъ къ 3 по полудни на лугу за деревнею начали появляться аисты въ огромномъ числѣ; они группами взлѣтали къ гнѣзду, кружились надъ нимъ, какъ бы для убѣжденія въ истинѣ и улетали обратно на лугъ. Во все это время самка сидѣла недвижно, опустивъ голову и какъ бы безучастно ко всему происходившему. Между тѣмъ, среди луговыхъ аистовъ замѣтно было какое то сильное движеніе: закинувъ головы назадъ, они трещали съ видимымъ безпокойствомъ. Наконецъ, прилетѣли два аиста—въ какомъ качествѣ неизвѣстно: вѣроятно мужа и судьи или двухъ конвойныхъ, взяли самку съ собою и посадили ее въ самой серединѣ круга аистовъ. Тогда начался, вѣроятно, судъ: птицы неистово трещали, стараясь перекричать другъ друга. Кончилось тѣмъ, что

одинъ аистъ—неизвѣстно, мужъ или палачъ, подошелъ къ мнимой преступницѣ, неподвижно стоявшей на срединѣ, и клюнулъ ее въ голову; вслѣдъ за нимъ все стадо бросилось на нее, размѣтало пухъ ея по луговинѣ и чрезъ нѣсколько минутъ остался на травѣ одинъ общипанный трупъ самки. Вся деревня присматривалась къ процессу съ величайшимъ любопытствомъ и никто не могъ объяснить себѣ причины этого явленія. Но вдругъ изъ стада отдѣлилось нѣсколько аистовъ, взлетѣли на гнѣздо, заклевали находившихся въ немъ птенцовъ и мертвыхъ выкинули на землю. Тогда только выяснилась причина: въ числѣ мертвыхъ птенцовъ были два юныхъ аиста и одинъ гусенокъ. Въ деревнѣ поднялся плачь. Всѣ поняли, что аисты никогда уже не возвратятся въ эту мѣстность, перестанутъ покровительствовать ей, а можетъ быть и сожгутъ деревню горящими головешками, какъ обыкновенно мстятъ они за убійство ихъ и другія преслѣдованія со стороны людей. Крѣпко жалѣли невинно погибшую самку. Гминный войтъ приступилъ къ разслѣдованію, какимъ образомъ гусенокъ попалъ въ гнѣздо аистовъ? Нашелъ виновныхъ мальчишекъ и родители крѣпко выпороли ихъ розгами въ волостномъ правленіи; но это не повело уже ни къ чему: весною 1844 года аисты въ Сильцію не возвратились и даже въ окрестностяхъ ея ни одно гнѣздо ихъ занято не было даже впоследствии.

Это, однако же, не единственный случай аистоваго правосудія. Не мало есть рассказовъ объ этомъ, не только словесныхъ, но даже въ печати, и притомъ на всѣхъ языкахъ.

К. Вл. Войцицкій, въ „Zagysach Domowuch“, говоритъ, что въ концѣ августа 1835 года онъ самъ насчиталъ на лугу до 200 аистовъ, собравшихся вмѣстѣ. Это было въ послѣдніе дни ихъ перекрижачи, предъ зимнимъ отлетомъ. Крестьяне такія сборища называютъ

„сеймикомъ“ или „вѣчемъ аистовъ“ и увѣряють, что остающійся по болѣзни аистъ плачетъ слезами, видимо льющимися изъ глазъ.

Въ „Виленскомъ Магнетическомъ Памятникѣ“ за 1816 годъ была помѣщена записка какого то ксендза I. S. объ аистѣ. Юцевичъ повторяетъ эту записку, не ручаясь, впрочемъ, за ея достовѣрность. Вотъ что пишетъ ксендзъ:

„Всѣмъ извѣстенъ довольно распространенный у насъ обычай приручать журавлей или аистовъ и держать ихъ въ кухняхъ, какъ для собственнаго удовольствія, такъ и для очистки жилищъ отъ жабъ, гадовъ и т. п. У одного помѣщика въ Польшѣ былъ также прирученный аистъ, который лѣто жилъ въ кухнѣ, осенью отлеталъ, а на весну возвращался въ ту же кухню. Предъ самымъ отлетомъ его, одною осенью, помѣщикъ привязалъ ему на шею жестяной ярлычекъ съ надписью:

„Haec ciconia de Polonia“.

(Этотъ аистъ изъ Польши). Весною аистъ возвратился съ золотою табличкою, на которой было написано:

„India, cum donis,  
Remittit ciconiam Polonis“.

(Индія съ дарами возвращаетъ аиста полякамъ). Обрадованный помѣщикъ, осенью, привязалъ къ шеѣ аиста опять жестяной ярлыкъ съ прежнею надписью. На весну аистъ прилетѣлъ, но уже не съ золотою, а съ мѣдною дощечкою, на которой была надпись:

„Grata Japonia  
Pro haec ciconia“.

(Благодарная Японія за этого аиста). Неизвѣстно, продолжалъ ли любознательный помѣщикъ дальнѣйшія дознанія о томъ, куда аисты улетаютъ на зиму?

По мѣнію древнихъ литовцевъ, аистъ возвращается съ нильскихъ береговъ въ концѣ марта и приноситъ на своихъ крыльяхъ плиску. Появленіе аиста было причиною всеобщаго веселья въ Литвѣ. Многіе хозяева устраивали у себя, въ честь прилета дорогого гостя, пирушки, на которыя приглашали друзей и знакомыхъ, и праздники эти назывались *Стержавимасъ*, отъ *Стеркусъ* — аистъ. Въ христіанское время днемъ прилета аистовъ начало считаться *Благовѣщеніе* (*Бловѣщусъ*).

## 2. Кукушка (Гѣгуже).

По Юпевичу („Литва“, стр. 47), *Кукушка* въ народныхъ повѣрьяхъ занимаетъ первое мѣсто между тѣми несчастными, которые подверглись превращенію. *Гѣгуже* была когда-то дочерью богатаго литовскаго боярина (*баіорсъ*), имѣла трехъ братьевъ, которыхъ горячо любила и посвятила всю свою жизнь, чтобъ угадывать и исполнять малѣйшее ихъ желаніе. Но вотъ запылала война доблестнаго Кейстута съ меченосцами и всѣ три брата стали подъ его знамена. Кончилась война, литовцы возвратились побѣдителями, торжествующіе, не вернулись только братья Гѣгужи: они пали на полѣ битвы и кони ихъ прибѣжали безъ сѣдоковъ. Долго плакала и горевала Гѣгуже; наконецъ, забравъ съ собою братнихъ коней, удалилась изъ дома родительскаго въ лѣсную глушь, и тамъ проводила жизнь въ плачѣ и рыданіяхъ. до тѣхъ поръ, покуда боги не сжалятся надъ нею и не превратили ее въ *Кукушку*. Съ тѣхъ поръ *Гѣгуже* всякій годъ весною, въ то самое время, когда погибли ея братья, грустнымъ кукованіемъ своимъ оплакиваетъ ихъ кончину.



У латышей живетъ о Кукушкѣ совсѣмъ другое преданіе. Бривземніаксъ, въ „Латышскихъ народныхъ сказкахъ“ („Сборникъ матеріаловъ по этнографіи“, вып. 2, Москва. 1887, стр. 39), пишетъ:

„Встарину у одной матери была дочь красавица. Однажды мать взяла дочь да зарѣзала (за что?), а косточки ея завязала въ платочекъ, повѣсила на верхушкѣ липы и сказала: „кукуй теперь, моя доченька, покуда будетъ эта земля, это солнышко! Изъ этихъ косточекъ вышла *Кукушка*, которая, по слову матери, кукуетъ и по нынѣ“.

Сказка эта какъ бы не окончена.

По смыслу сказки, до катастрофы съ дочкой, кукушки еще не было на свѣтѣ; откуда же мать взяла слово „кукуй“? За что мать зарѣзала красавицу дочку? Есть русская сказка, что мать приказываетъ дѣвкѣ—Чернавкѣ извести дочь за то, что зеркальце сказало матери (или даже мачихѣ), что дочь лучше ея. Въ этомъ, по крайней мѣрѣ, есть смыслъ, тогда какъ въ латышской сказкѣ его нѣтъ. Почему мать повѣсила на липѣ *косточки* зарѣзанной дочки, а не тѣло ея? Куда же дѣвалось *тѣло* съ косточекъ? Скушала его матушка, чтоли, какъ Баба-Яга? Или же соскоблила *тѣло* съ *косточекъ*—и тогда съ какою цѣлью?...

Простой народъ въ Литвѣ—говоритъ Юцевичъ—питаетъ къ кукушкѣ, такъ же, какъ и къ аисту, какое то особенное уваженіе и приписываетъ ей много хорошихъ качествъ. Ворожить или гадаетъ ею и число звуковъ ея служить отвѣтомъ на заданный вопросъ. Последніе нерѣдко излагаются въ формѣ пѣсни, напримѣръ:

Ты, милая сестрица,  
Пестрая кукушечка,  
Пася братнихъ коней,  
Прядя шелковыя нитки,

Скажи, скоро-ль выйду замуж?  
Закукуй, кукушечка,  
Скажи, перелетная,  
На зеленой ели сидя,  
На золотомъ стулѣ отдыхаая,  
Братнихъ коней пасучи,  
Шелковые платки помѣчая,  
Золотой тесьмой обшивая,  
Мои года считая,  
Долго-ли жить мнѣ на свѣтѣ?

Въ Литвѣ до сихъ поръ живо повѣрье, будто боги превращаютъ въ кукушекъ тѣхъ, которые слишкомъ много тоскуютъ по своимъ умершихъ родственникахъ. Есть даже пѣсня, поддерживающая это повѣрье:

Ѣхаль я чрезъ мость,  
Но съ коня свалился  
И упаль въ рѣку.  
Тамъ я лежалъ  
Три недѣли,  
Никто по мнѣ не тосковаль.

Вотъ прилетѣли  
Три пестрыя кукушки,  
Среди темной ночи.

Одна куковала  
Въ концѣ моихъ ногъ,  
Другая при головѣ,

А та третья,  
Пестрая кукушечка,  
Куковала при сердцѣ.

Жена при ногахъ,  
Сестра при головѣ,  
Мать при сердцѣ.

Жена тосковала  
Три недѣли,  
Сестрица три года,  
А матушка,  
Кормилица,  
До смерти при сердцѣ.

Жена провожала  
Черезъ родныя поля,  
Сестрица до церкви,  
А матушка,  
Кормилица,  
До самой могилы!

У Сербовъ также есть подобная пѣсня, но она отличается другимъ вариантомъ. Тамъ, молодой человекъ, упавъ съ высоты, разбился. Послали за славною кудесницею, лѣсною нимфою *Вилею*, но та потребовала большой награды: отъ матери—правой руки, отъ сестры—прекрасной ея косы, а отъ жены—маленькую нитку перловъ изъ ожерелья. Мать отдала свою руку, сестра отрѣзала себѣ косу, а жена ни за что не хотѣла разстаться съ своими перлами, какъ подаркомъ отца. *Вилля* разгнѣвалась и уморила больного. „Три кукушки кукуютъ надъ тѣломъ“—продолжаетъ пѣсня: „одна—дни и долгія ночи, другая—предъ восходомъ и закатомъ солнца, третья—кое-когда, изрѣдка. Та, которая горюетъ дни и ночи—мать погибшаго сына; та, что плачетъ по зарямъ—сестра его, а та, что кое-когда застонетъ—молодая, чернобривая его женушка“.

Для указанія сходства литовскихъ повѣрій съ славянскими, приводимъ здѣсь окончаніе одной галиційской (червоно-русской) пѣсни.

На горѣ громовая стрѣла убила „вдовинаго сына“—и вотъ прилетѣли три „возуденьки“:

Одна впала по конэць головки,  
А другая впала по конэць ножёчокъ,  
А третья впала по конэць сердёнъка,  
По конэць головки—маты старёнъка,  
По конэць ножёчокъ—сестрычка риднёнъка,  
По конэць сердёнъка—то его мылёнъка;  
Где матёнъка плаче—кровавая ричка,  
Где плаче сестрыця—кровава крыныця,  
Где плаче мылёнъка—сухая стежёнъка;  
Бо матёнъка плаче—видъ року до року,  
А сестрыця плаче—кильки загадае,  
А мылёнъка плаче—иншу гадку мае:

О иннымъ гадае!...

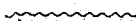
Въ Литвѣ до сихъ поръ существуетъ праздникъ въ честь кукушки, — его празднуютъ на 3 день Пасхи, именно: молодежь со всей деревни собирается въ одинъ домъ и тамъ поють пѣсни. Потомъ наступаетъ танецъ, называемый *Гъгужи*. Танцемъ руководить, по выбору, самая пригожая дѣвушка изъ села (*Гъгъля*). Всѣ становятся въ кружокъ и „царицу-кукушку“ (*Каралюни-Гъгъли*) сажаютъ посрединѣ круга, съ завязанными глазами, на стулѣ. Послѣ этого начинается вокругъ ея пляска, по окончаніи которой парни подбѣгаютъ къ царицѣ праздника и, взявъ ее за руку, припѣваютъ:

Каролюни-Гъгъли, куку! куку!

Ашъ тава, бролялись, куку! куку!

(Царица-кукушечка, куку! куку! Я твой братецъ, куку! куку!)

Сидящая, угадывая по голосу тѣхъ, къ которымъ больше всего благоволить, выбираетъ трехъ парней и цѣлый этотъ день только съ ними и пляшетъ; затѣмъ, въ продолженіе всего года, она называетъ ихъ братьями, а они ее сестрою (*Юцевичъ, I. с.*).



### 3. Соловей (Лакштингала).

Тотъ же Юцевичъ (Людвигъ-изъ-Покевья), на стр. 62, передаетъ слѣдующее повѣрье о *Соловьѣ*:

Встарину надъ р. Вильею жилъ молодой человекъ, по имени *Дайнасъ* (*дайнасъ*-пѣсня). Онъ влюбился въ прекрасную дѣвушку *Скайстою*, но не имѣлъ взаимности. Напрасно онъ употреблялъ всѣ усилія, чтобъ приобрѣсть ея любовь: пѣлъ по утрамъ и вечерамъ подъ окномъ ея прекрасныя пѣсни, встрѣчалъ ее, по возвращеніи вечеромъ съ поля и считалъ себя счастливымъ, если могъ взглянуть на нее, привѣтствовать нѣжнымъ словомъ. Но надмѣнная красавица не хотѣла слушать ни пѣсенъ его, ни привѣтствій. Наконецъ, видя, что ничѣмъ не тронетъ сердца красавицы, онъ съ отчаянія утопился въ рѣкѣ. Сострадательные боги превратили его, послѣ смерти, въ *Соловья*, съ тѣмъ, чтобы своимъ голосомъ, которымъ не могъ тронуть своей возлюбленной, утѣшалъ несчастныхъ любовниковъ. *Скайстою* слишкомъ поздно почувствовала любовь къ своему обожателю—именно тогда, когда его не было уже на свѣтѣ и умерла съ горя. Боги превратили ее въ *Столиственную Розу* (центифолію), которая и до нынѣ тогда только начинаетъ разцвѣтать, когда соловей перестаетъ пѣть.

Эта прелестная идиллія только и могла родиться въ ковенской поэтической *Алексотѣ*, гдѣ существовалъ храмъ богини любви *Мильды* и гдѣ дѣвственные лѣса изобиловали розами съ другими цвѣтами, наполнявшими воздухъ благоуханіемъ.

---

#### 4. Сова. (Шеледа).

Это была вдова одного знатнаго боярина (*байорсз*), съ множествомъ дѣтей. Но она нисколько не заботилась о дѣтяхъ своихъ и передала на попеченіе сорѣкъ и галокъ, а сама цѣлыя ночи на пролетъ проводила въ пляскѣ и забавахъ съ молодыми людьми, цѣлые же дни спала непробудно опять до ночи.

Однажды богъ зашелъ къ ней днемъ и нашелъ дѣтей голодными, оборванными и заливавшими слезами. „Гдѣ ваша мама?“ спросилъ онъ. „Спитъ“, отвѣчали дѣти. Въ другой разъ зашелъ онъ ночью. „Гдѣ ваша мама?“ спросилъ богъ. „Не знаемъ“, отвѣчали дѣти. „Я знаю гдѣ она“, сказалъ богъ—и въ тотъ же часъ превратилъ беззаботную маму въ *сову*, съ тѣмъ, чтобы она продолжала спать днемъ, а жить ночью. (*Повѣрье изъ окрестностей Полангена*).

---

#### 5. Воронъ. (Крауклисъ).

*Воронъ*, по мнѣнію народа, распространенному въ Лидскомъ уѣздѣ, проклятая и зловѣщая птица. Въ немъ сидитъ душа измѣнника своему отечеству. Герой *Кейстутъ* ввѣрилъ когда то одному изъ бояръ своихъ, по имени *Крауклису*, отрядъ, для отраженія нападенія рыцарей. Бояринъ, польстившійся на золото, которое давно предлагали ему рыцари, продалъ имъ отрядъ свой и они истребили его поголовно. Кейстутъ въпослѣдствіи, взявъ этого боярина, въ числѣ другихъ рыцарей, въ плѣнъ, приказалъ влить ему въ горло растопленное золото, а боги, по просьбѣ жены Кейстута *Вируты* (бывшей *Вейдалотки*), превратили черную душу измѣнника

въ *ворона*, который и до сихъ поръ скрываетъ свой позоръ отъ людей въ глухихъ лѣсахъ, или на уединенныхъ кладбищахъ.

## 6. Гусь, (Зунисъ).

Повѣрье о немъ слѣдующее:

Одинъ сельскій житель имѣлъ чрезвычайно глупую дочь, а потому онъ и приказалъ ей сидѣть невылазно за печкою и никогда не показываться людямъ. Однажды, лѣтнею порою, когда всѣ были на работѣ въ полѣ, зашелъ въ хату сѣдой, какъ дунь, старичекъ (это былъ самъ богъ), обошелъ цѣлую *секлицу* (свѣтлицу) и не видя никого, хотѣлъ уже уходить, какъ вдругъ изъ-за печки отозвалась глупая дѣвка: „га, га, га!“ Вожекъ такъ разсердился, что превратилъ ее въ *гусыню*, и потому въ народѣ донынѣ *гусь* считается эмблемою глупца. Есть даже поговорка: „глупъ, какъ гусь“ (*Юцевичъ, стр. 127*).

Хотя Стрыйковскій и усиливается доказать итальянское происхожденіе литвиновъ, однако, они никогда не слышали о геройскомъ подвигѣ капитолійскихъ гусей, которые со страху подняли паническій крикъ и тѣмъ спасли Римъ. Не смотря, однако, на то, нѣкоторые дворянскіе литовскіе роды имѣютъ въ гербѣ своемъ *гуся*, навязаннаго имъ польскими дворянскими родами. У поляковъ гербъ этотъ называется „*будзишигъ*“, отъ слова *будитъ* и происходитъ по прямой линіи отъ капитолійскаго „неусыпнаго“ *гуся*; у литовцевъ же гербъ этотъ называется „*папарона*“, отъ слова *папаронасъ*—часовой, военный стражъ.

## 7. Собака, (Шува или Шуни).

Литовскіе воины и охотники уважали собаку наравнѣ съ конемъ. Собакъ даже сжигали на кострахъ вмѣстѣ съ тѣлами умершихъ героевъ. Простой народъ не менѣе уважалъ собаку за то, что она была стражемъ и другомъ дома и предсказательницею хорошихъ и дурныхъ событій. Крестьянищъ никогда не обзоветъ никого *собакою*; напротивъ, животное это, за его благородный характеръ и вѣрность, ставится всемъ въ примѣръ.

На сколько удалось собрать въ народѣ повѣрья о собакѣ, оказывается, что причина уваженія ея была слѣдующая:

Когда то богъ крѣпко разгнѣвался на родъ людской, и рѣшилъ умерить его голодомъ. Пошли неурожай, появился голодъ. Собака начала жалобно выть. Богъ, не имѣя ничего противъ собаки, бросилъ ей кусокъ хлѣба; но собака, не дотрогиваясь до него, начала просить бога, чтобы онъ далъ хлѣба и людямъ; когда же богъ отказалъ, то и она отказалась отъ хлѣба и сказала, что не желаетъ пережить своихъ кормильцевъ и умереть вмѣстѣ съ ними отъ голода. Богъ, умиленный такимъ благородствомъ своего творенія, простилъ людямъ и снова даровалъ имъ изобиліе плодовъ земныхъ.

Въ языческой Литвѣ, кромѣ уваженія собаки, воздавались ей еще какого то особаго рода почести; но въ чемъ именно онѣ состояли, изъ историческихъ сказаній не видно; сохранилось только въ окружномъ посланіи, писанномъ на литовскомъ языкѣ, епископомъ жмудскимъ Тарчевскимъ, указаніе на одинъ обрядъ: „*атминимусъ Шунунъ процевнику*“, т. е. „поминки собакъ трудолюбивыхъ“ (или „труженицъ“). Юцевичъ добылъ это посланіе изъ архива жмудскихъ епископовъ въ Ольсядахъ. (М. Ольсяды, въ 10 верстахъ отъ г. Тельшъ, бывшая резиденція епископовъ жмудскихъ). Къ сожалѣнію, въ



посланіи обрядъ называется только по имени, но безъ указанія прочихъ его подробностей—и порицается епископомъ строго, наравнѣ съ другими языческими заблужденіями.

Между тѣмъ, извѣстно по нынѣ только то, что каждая хозяйка, при печеніи хлѣба, выпекала изъ остатковъ тѣста послѣдній маленькій хлѣбенецъ для собаки, вѣруя въ увеличеніе чрезъ то урожая. Кромѣ того, литовцы имѣли обычай кормить собакъ изъ собственнаго рта. Противъ этого сильно возстаетъ посланіе того же епископа Тарчевскаго, въ которомъ сказано:

„..... Есть у васъ поганскій обычай: вы за столомъ отдаете первый и послѣдній кусокъ собакѣ, вѣруя, будто это принесетъ изобиліе дому вашему. О Боже нашъ! какіе же у Тебя слуги! Нѣтъ, это не Твои слуги, это рабы діавола! Люди-христіане! предостерегаю васъ во имя Господа Іисуса Христа, отстаньте отъ вашихъ нечестивыхъ обычаевъ, не причиняйте позора католическому имени! Вы, изъ тѣхъ самыхъ устъ, которыми пріемлете тѣло и кровь Бога, даете хлѣбъ скверному животному... Вы, будучи участниками всѣхъ даровъ небесныхъ, дѣлаете и исовъ участниками тѣхъ же даровъ, давая имъ изъ своего рта...“ и т. д.

Нынѣшніе крестьяне на Жмуди стараются соблюдать приказаніе своего уважаемаго архипастыря, хотя и не могутъ еще отрѣшиться отъ языческаго своего обычая, и потому теперь сами не откусываютъ перваго и послѣдняго куска для собаки, а приказываютъ дѣлать это дѣтямъ, которыя не были еще у св. причастія. (*Юцевичъ, стр. 120*).

Предсказаніямъ собакъ вѣрили вполне. Если въ селеніи всѣ собаки поднимали вой—это предсказывало пожаръ, войну или моръ. Причемъ (*по тому же Юцевичу, стр. 151*) различали: если онѣ поднимали головы вверхъ—къ пожару; если опускали къ землѣ—къ

войнѣ, а если выли лежа—къ голоду и моровому повѣтрію. Вой одиночной собаки, особенно, ежели она при этомъ смотритъ на уголъ дома своего хозяина, и роетъ землю, непременно предсказываетъ смерть кому нибудь изъ жильцовъ дома. Кромѣ того, по собакѣ до сихъ поръ отгадываютъ многое: ежели она уныла—предсказываетъ печаль для дома; ежели ѣсть траву—знаменуетъ дождь; а если лежитъ на всѣхъ четырехъ лапахъ, брюхомъ на землѣ, то непременно предсказываетъ жары или сильные морозы, при постоянной погодѣ.

О благородномъ самоотверженіи и беззавѣтной храбрости собаки, при борьбѣ человѣка съ лютымъ звѣремъ, переполнены всѣ охотничьи рассказы—и кому они неизвѣстны?

## 8. Козель, (Ожисъ).

*Козель* считался любимцемъ *Раганы* или вѣдьмы *Ляздоны*; поводомъ къ такому убѣжденію послужилъ крикъ бекаса (вальдшнепа), похожій на бляеніе козла. Литовцы вѣрили, что *Ляздона* развѣзжаетъ по воздуху на козлѣ, котораго такъ мучить, что онъ кричитъ отъ боли. Встарину онъ назывался *Мьяльсз Ляздоносъ* (любимецъ *Ляздоны*), а нынѣ называется просто *Мьяльсз Ожисъ*. Въ „*Праздникъ козла*“, совершаемый язычниками-литовцами, разъ въ годъ, осенью, по сборѣ хлѣбовъ, съ большою торжественностью, приносился въ жертву богамъ козель.

Съ введеніемъ понятія о чортѣ, усвоено было и убѣжденіе, что онъ при появленіи въ общество людей, непременно маскируется козловою шкурою, съ прибавленіемъ медвѣжьихъ когтей и кошачьяго хвоста. Легенды и сказокъ объ этомъ—всѣмъ, впрочемъ извѣстныхъ—

тысячи. Нашъ старый знакомецъ, *Громобой*, также встрѣтилъ подобную маску

„Надъ пѣнистымъ Днѣпромъ—рѣкой“.

Даже въ сороковыхъ и чуть ли не въ пятидесятихъ годахъ нынѣшняго столѣтїа циркулировала во всей Россїи сказка, которой, къ сожалѣнїю, вѣрили даже очень интеллигентные люди—будто какой то мужикъ нашель кладъ и сознался въ этомъ... кажется, мельнику. Мельникъ пожелалъ отнять кладъ, для чего зарѣзалъ козла, надѣлъ на себя его шкуру, явился къ мужику въ полночь, и выдавая себя за чорта, потребовалъ обратно свой кладъ. Испуганный мужикъ выбросилъ за окошко деньги, которыя мельникъ подобралъ и унесъ съ собою; но потомъ не могъ стащить съ себя козлиной шкуры, которая, вмѣстѣ съ рогами, приросла къ нему на вѣки. Въ этомъ видѣ возили, будто бы, мельника по всѣмъ святымъ и чудотворнымъ мѣстамъ Россїи, гдѣ, однако же, онъ не могъ отмолить своего грѣха, хотя деньги и возвратилъ мужику.

Разказы эти обыкновенно имѣють одинъ исходъ: никто не видалъ чуда *лично*, но „слышалъ отъ *вѣрнаго* *человѣка*, который *видалъ* *собственными* *глазами*“.

## 9. Волкъ. (Вилку).

Волкъ давно считается самымъ заклятымъ врагомъ человѣческаго рода и особенно принадлежащаго людямъ живаго инвентаря.

По народнымъ повѣрьямъ, самый лютый изъ волковъ тотъ, который можетъ самъ, по произволу, оборачиваться то въ волка, то въ человѣка. Такой оборотень (*волколакъ*) можетъ, въ образѣ человѣческомъ, безпрепятственно войти въ середину стада, выбрать тамъ для

себя любое животное и унести его, оборотившись волкомъ. Случается очень часто, что недостаточно ублажаемый на свадьбѣ колдунъ, превращаетъ въ стадо волковъ цѣлую свадьбу: жениха съ невѣстою и всѣхъ поѣзжанъ. Не разъ также случалось, что подъ шкурою убитаго волка находили полный свадебный нарядъ жениха, невѣсты или дружки. Всякій литвинъ—да не только литвинъ, но и всякій человекъ славянскаго происхожденія, готовъ подъ присягою показать, что все сказанное выше дѣйствительно случается. Ив. Як. *Спрогисъ* собралъ много разсказовъ объ этихъ ужасныхъ происшествіяхъ и помѣстилъ ихъ въ 1-мъ выпускѣ „Сборника Матеріаловъ по Этнографіи“, изд. при Дашковскомъ этнографическомъ музеѣ, въ Москвѣ, въ 1885 году.

I. *Трейландъ (Бривземіяксъ)*, въ томъ же „Сборникѣ“, приводитъ также очень много такихъ страшныхъ разсказовъ по этому же предмету. И все это вѣрно, потому что записано со словъ самыхъ „вѣрныхъ людей“, которые, хотя сами лично ничего подобнаго и не видѣли, но „*слышали отъ самихъ очевидцевъ*“.

Отсылаемъ любопытныхъ къ этому „Сборнику“.

Между тѣмъ, встарину, волкъ совсѣмъ не былъ такимъ злымъ, какъ теперь. Прежде онъ былъ добрѣе и скрѣпнѣе ягненка, служилъ людямъ охотно и даже пасъ стада. Но сами люди его испортили и сдѣлали врагомъ какъ себѣ, такъ и своей скотинѣ. Разумѣется, и въ этомъ, какъ и во всемъ дурномъ, виновата женщина! Вотъ что г-ну Блау разсказывалъ объ этомъ одинъ „вѣрный человекъ“ въ приходѣ Эргле (Лифл. губ.).

„Встарину волкъ служилъ пастухомъ. Каждый разъ, когда онъ пригонялъ домой скотъ, хозяйка должна была испечь небольшой хлѣбецъ и дать волку за дневную службу. Въ одной деревнѣ хозяйка была очень скупа: ей надоѣло каждый день готовить по хлѣбу. Она взяла камень и накалила его въ печи; когда волкъ

пришелъ, она бросила ему раскаленный камень. Волкъ схватилъ его, вмѣсто хлѣба, и обжегъ себѣ морду. Отъ того обжога и по нынѣ у волка конецъ морды черенъ. За такую неблагодарность волкъ пожаловался на хозяйку богу. Богъ велѣлъ волку жить въ лѣсу, какъ самому, моль, хочется и выбирать изъ хозяйскаго стада любую скотину въ пищу. Съ тѣхъ поръ волки живутъ въ лѣсахъ и ѣдятъ овецъ и другую скотину изъ хозяйскихъ стадъ“.

Стало быть, во всемъ виноваты люди. И по дѣломъ имъ! А что волкъ вначалѣ любилъ ихъ, это не подлежитъ сомнѣнiю. Выше мы видѣли, въ статьѣ „*Austro*“, что волкъ даже торговалъ „распивочно и на выносъ“ и отпускалъ людямъ водку въ долгъ. Благодаренiе не изъ послѣднихъ!

Юцевичъ, на стр. 41, говоритъ, что волкъ въ древности, вѣроятно, пользовался какимъ то особымъ уваженiемъ, такъ какъ простонародiе донынѣ, чтобы не прогнѣвить его, не называетъ его волкомъ, а *Лаукнисс* (полевикъ), и не говорятъ „волки воютъ“, а „*Лаукниссы поютъ*“.

По Эйнгорну („*Reformatio gentis Letticae in Dukatu Curlandiae*“), латыши, въ декабрѣ мѣсяцѣ, приблизительно около Рождества Христова, соблюдали языческiй обычай „отогнанiя волковъ“ (*Gainat Wilkas*), т. е. на перекресткѣ, при особыхъ языческихъ церемонiяхъ, жертвовали *волкамъ козу*, съ цѣлью отвращенiя вреда отъ скота—и увѣряли, что послѣ такого жертвоприношенiя, волкъ во весь годъ скоту вреда не принесетъ, если онъ пройдетъ даже черезъ стадо.

Въ Зельбургѣ и Динабургѣ особенно распространено было поклоненiе *Лншему* (*Buschgott*), по латышски *Meža diws*, или *лѣсному мужу* (*Межа-вирсъ или Вальдманнъ*) и что Эйнгорнъ полагаетъ, будто волкъ, именно, имѣетъ прозвище *лѣсного бога*, или *лѣсного мужа*.

## 10. Медвѣдь, (Мешка).

На сѣверѣ, гдѣ не водятся львы—эти цари звѣрей—*медвѣдь* считался представителемъ силы и мужества; оттого онъ и вошелъ въ гербы многихъ сѣверныхъ дворянъ.

О происхожденіи медвѣдя Юцевичъ (*стр. 78*) передаетъ слѣдующее литовское повѣрье:

„Однажды богъ, въ видѣ старца, шелъ черезъ мостъ. Вдругъ человекъ, по имени *Балтрасъ*, вздумалъ испугать бога и заревѣлъ ужаснымъ голосомъ изъ-за камня, за которымъ сидѣлъ. Богъ нашелъ эту шутку глупою и неумѣстною и за неуважаніе къ себѣ превратилъ Балтраса въ *медвѣдя*, оставивъ ему на заднихъ ногахъ человѣческія ступни, въ воспоминаніе того, что онъ былъ человекомъ“.

## 11. Конь, (Арклисъ).

Въ повѣрьяхъ всѣхъ вѣковъ и народовъ *конь* игралъ первенствующую роль изъ всѣхъ животныхъ и былъ любимцемъ боговъ.

Кони: *серебряный*, *золотой* и *алмазный* везли колесницу *солнца*.

По скандинавскимъ сагамъ („*Новая Эдда*“), *Альфадергъ*, отецъ всѣхъ боговъ, людей и цѣлаго, созданнаго имъ міра, далъ *ночи* и *дню* колесницы для объѣзда земли: впереди ѣдетъ *ночь* на конѣ *Hrimfax'ъ* (замерзшая грива), съ удилъ котораго падаетъ роса на землю, а за нею *день* на конѣ *Skinfax'ъ* (сіяющая грива).

У *Аполлона* былъ крылатый конь *пегасъ*.

Литовскій *Перкунъ* имѣлъ на небѣ огненнаго коня, по имени *Липсностасъ* (молніеносный), который путь свой означалъ огненными слѣдами или молніею.

Литовскіе *Мурги* или тѣни павшихъ героевъ разбѣжали на *Дунгусть* (на небѣ) на крылатыхъ коняхъ.

Кромѣ того, были и волшебные кони, у которыхъ „изъ ноздрей вылетало пламя, а изъ ушей валилъ дымъ столбомъ“. Эти кони—чародѣи служили легендарнымъ богатырямъ и героямъ, которые входили внутрь ихъ въ одно ухо, а выходили въ другое, и гдѣ даже „Иваны-дураки“ перерождались въ такихъ красавцевъ, что „ни въ сказкахъ рассказать, ни перомъ описать“. Такіе кони выручали своихъ ѣздоковъ изъ страшныхъ опасностей, причемъ всегда говорили человѣческимъ голосомъ: „это не служба, а службишка—служба еще впереди“. Даже невзрачный „Конекъ-Горбунокъ“ былъ сверхъестественнымъ волшебникомъ. Богатырю *Витолю* принадлежалъ волшебный конь *Тодзъ*. (См. „*Витолерауда*“ *Крашевскаго*).

Легенды и преданія о подобныхъ коняхъ, общія всѣмъ народамъ древняго и современнаго міра, заимствуются однимъ народомъ отъ другого; а въ христіанскую эпоху даже дьяволы начали принимать форму коней и возить на себѣ не только мертвецовъ и другую нечистую силу, но и живыхъ людей, умѣвшихъ подчинить себѣ чорта или продавшихъ ему свою душу. Повѣрья эти жили и живутъ до нынѣ и между литовцами—и такъ схожи съ извѣстными всякому повѣрьями другихъ народовъ, что не заслуживаютъ повторенія.

У литовцевъ конь, послѣ человѣка, считался самымъ благороднымъ животнымъ: понятіе о воинѣ, рыцарѣ, всегда соединялось съ конемъ, точно такъ, какъ понятіе о земледѣльцѣ было неразлучно съ воломъ. Конь, вмѣстѣ съ почившимъ героемъ, сжигался на кострѣ.

Жмудскіе кони, малые, крѣпкіе и выносливые, съ давнихъ поръ пользовались извѣстностью въ западной Европѣ. Литваны, какъ и арабы, къ чести ихъ, всегда

отличались любовью своею къ лошадамъ и кроткимъ съ ними обращеніемъ.

Конь съ единорогомъ до нынѣ входятъ въ гербы многихъ знатныхъ дворянскихъ родовъ въ Европѣ.

## 12. Повѣрья о горахъ.

Гора—по-литовски *Калнасъ*. Древне-литовскія повѣрья о горахъ дошли до насъ только въ краткихъ сказаніяхъ двухъ польскихъ писателей: *Нарбутта* и *Юцевича*. Первый на стр. 213 („Литовская исторія“, т. I) пишетъ:

„Извѣстно изъ древней исторіи, что первобытные народы приносили жертвы богамъ на вершинахъ горъ, потому что, по ихъ представленіямъ, божество пребывало на высотѣ небесной, а принесеніемъ жертвъ на горахъ думали приблизить себя къ божеству. Авраамъ восходилъ на гору для принесенія въ жертву Исаака. Въ священномъ писаніи не разъ упоминается о нагорныхъ жертвоприношеніяхъ.

Древніе имѣли извѣстныя мѣстности, называемыя *Huretres* или *Subdiales*; онѣ не были ничѣмъ ни ограждаемы, ни покрываемы, устраивались на горахъ безлѣсныхъ и открытыхъ со всѣхъ сторонъ; тамъ совершались по временамъ религіозные обряды и народныя вѣча.

У славянъ горныя вершины были довольно обыкновенны, особенно у сѣверныхъ, и назывались „*Лысыми Горами*“, по причинѣ обнаженія ихъ отъ всякой растительности. Такія горы были извѣстны многимъ европейскимъ народамъ, ничего общаго съ литовцами не имѣвшимъ, напримѣръ: по-французски *chaumont* отъ *chauve*, лысый и по-нѣмецки *Kahlenberg* отъ *Kahl*, означающаго тоже самое. Но и по-персидски *Khoh* также зна-



чить лысый; а потому и выводятъ названіе *Кавказа* отъ *Khohkasr*, лысая гора. Это доказываетъ Мальте-Бруннъ „*Vocabulaire de mots génériques*“). Но если ближе разобратъся въ лингвистикѣ, то на языкѣ индійско-буддійскомъ, или оставшемся еще въ странѣ надъ Араксомъ, *Kasr* значитъ лысый, а *Khoh* гора. Отсюда море *каспійское* значитъ на мѣстѣ *лысое море*, въ смыслѣ отсутствія на берегахъ его всякой растительности. Это подтверждается и рукописнымъ словаремъ одного изъ кавказскихъ языковъ, составленнымъ лекаремъ Росляковымъ около 1809 года.

Кіевская *лысая гора* извѣстна во всей Россіи. О ней живетъ пропастъ сказокъ до сихъ поръ. Туда *Бабы-Яги*, чародѣйки, вѣдьмы и злые духи слетаются въ ступахъ, на лопатахъ и метлахъ на шабашъ, въ ночь на *Ивана-Купалу*, для веселья и для вѣча. *Лысая гора* въ Польшѣ, близъ Сандоміра, нынѣ „гора св. Креста“, пользовалась не меньшею извѣстностью.

На Жмуди также есть *Лысая гора*. Она находится въ Тельшевскомъ уѣздѣ и называется *Шатрія*. Описываетъ ее Юцевичъ въ „*Wspomnieniach Żmudzi*“ (стр. 70) слѣдующимъ образомъ:

„*Шатрія*—очень высокая гора, чуть ли не высшая изъ всѣмъ жмудскихъ горъ. Объ ней живетъ въ народѣ очень много суевѣрныхъ преданій. Здѣсь, по народному мнѣнію, погребена *Яутерита*, жена знаменитаго литовскаго гиганта и богатыря *Алциса* (вопедшаго въ гербъ города Вильны). Сюда въ вечеръ *Купалы* слетались вѣдьмы изъ цѣлаго края и тамъ пировали“.

Далѣе, Юцевичъ приводитъ слышанный имъ рассказъ, какъ одинъ смѣлый парень, желая убѣдиться, что дѣлается на *Шатрії* въ ночь на *Купалу*, взобрался на гору и нашель тамъ огромное собраніе людей обоего пола; изъ нихъ кавалеры были одѣты по-нѣмецки, въ куцыхъ фракахъ, бѣлыхъ галстукахъ и въ шляпахъ,

изъ-подъ которыхъ торчали огромные рога. Разумѣется, сзади волоклись и длинные хвосты, если не бывали загнуты вверхъ закорючкою. Все это собраніе веселилось, танцовало и разные напитки лились рѣкою. Музыка играла чудесная. Собраніе очень любезно приняло непрощеннаго гостя. Его усадили на алмазномъ тронѣ, потчивали отличнымъ виномъ изъ золотого кубка, дали много золота, которымъ онъ набилъ себѣ карманы—и все упрашивали, чтобы онъ пилъ и веселился; но гость былъ очень остороженъ и не пробовалъ вина. Вдругъ запѣлъ пѣтухъ—и все мгновенно исчезло. Смѣльчакъ очутился на старомъ пнѣ, въ рукахъ, вмѣсто золотой чаши, былъ у него, наполненный нечистотами, человѣческій черепъ, который скалилъ на него свои желтые зубы, а въ карманахъ были щепки.

Но не одинъ темный людъ вѣрилъ этимъ сказкамъ. На той же и послѣдующихъ страницахъ Юцевичъ приводитъ нѣсколько добытыхъ имъ изъ тельшевскаго уѣзднаго архива смертныхъ приговоровъ, состоявшихся въ 1736 году (!), по которымъ предано сожженію нѣсколько несчастныхъ женщинъ за колдовство и полетъ на шабашъ вѣдьмъ на гору Шатрію. Возмутительные приговоры эти замѣчательны тѣмъ, что осужденіе несчастныхъ на костеръ мотивировалось—во-первыхъ, свидѣтельскими показаніями подѣ присягою „достойныхъ вѣры людей“; во-вторыхъ, топленіемъ въ рѣкѣ мнимыхъ чародѣекъ, которыя при этомъ „не тонули“, и, въ третьихъ, „собственнымъ сознаніемъ подѣ пытками (на torturach!!) самихъ вѣдьмъ“, что онѣ дѣйствительно летали на гору Шатрію, въ сообществѣ *тѣхъ* и *тѣхъ* (также потомъ сожженныхъ), дружили съ чертями, причиняли порчу и смерть людямъ и животнымъ и т. п.

Наконецъ, Юцевичъ, на стр. 84, пишетъ:

„Въ полумилѣ отъ Тельшъ находится, очевидно, искусственная гора, называемая въ народѣ горою *Джуга*;

она имѣетъ правильную коническую форму и состоитъ изъ однородной наносной земли. *Джугъ (Джугасъ)* считается какимъ то легендарнымъ жмудскимъ героемъ. Онъ насыпалъ эту гору и предназначилъ ее могилою для себя. Тѣло его долго стерегла нечистая сила, при помощи которой онъ доказывалъ чудеса: огромною желѣзною палицею своею уничтожалъ полчища рыцарей, опрокидывалъ горы, вырывалъ съ корнемъ, какъ прутья, многовѣковые дубы и т. п. Онъ выкопалъ и Тельшевское озеро и основалъ г. Тельши, поселившись первымъ на берегу озера. Безъ сомнѣнія, осушка тельшевскихъ болотъ и собраніе водъ ихъ въ одинъ бассейнъ, сдѣланныя кѣмъ нибудь давно, послужило основаніемъ къ легендѣ о *Джугасѣ*. Въ какое же время богатырь этотъ жилъ — народъ не знаетъ, и подобно тому, какъ всякое событіе относить ко временамъ *Кейстута*, говорить, что и *Джугасъ* жилъ во времена его. Вблизи горы есть нѣсколько поселянъ, называющихся *Джугами*; есть тамъ же и селеніе по имени *Джугимяны*; но отъ героя или отъ горы получили они свое названіе неизвѣстно. Между тѣмъ, и къ этой горѣ, такъ же, какъ и къ *Шатри*, жители питаютъ донныи суевѣрный страхъ. Говорятъ, будто бы на ней живетъ чортъ, который, въ образѣ кургузаго нѣмчика, перепрыгиваетъ съ дерева на дерево и при встрѣчѣ съ людьми заставляеть ихъ биться съ собою объ закладъ по загадываемымъ имъ случаямъ, и при проигрышѣ человѣкомъ пари, душитъ его. Юцевичъ и Сѣмѣньскій записали даже легенду объ этомъ; но она слишкомъ глупа и не заслуживаетъ повторенія.

Повѣрье имѣетъ сходство съ повѣрьемъ о египетскомъ Сфинксѣ.

Но возвратимся къ *Нарбутту*.

„У литвиновъ было не мало горъ, посвященныхъ служенію богамъ, говоритъ онъ; но мы знаемъ только

о тѣхъ, на которыхъ находились языческіе капища и алтари. Такъ, славились горы: въ Полунгѣ (Полангенѣ) алтаремъ *Прауримы* и на берегахъ р. Невяжи—храмомъ *Пержуна (Ромнове)*. Виленская „крестовая гора“ (отъ поставленныхъ на ней трехъ крестовъ) была названа *мысою горою*, вѣроятно, русскими колонистами города, вызванными сюда во время его основанія. Самая высокая часть этой горы значительно осѣла. При устройствѣ на ней укрѣпленія (во времена существованія бывшей виленской цитадели), на горѣ вырыты людскія кости очень большихъ размѣровъ. Такимъ образомъ, нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ для указанія какого нибудь религіознаго значенія виленской горы. Первые францисканскіе монахи поставили на этой горѣ три креста, въ воспоминаніе распятія на этой горѣ, въ 1333 (?) году, семерыхъ изъ нихъ и низверженія потомъ съ горы въ р. Виленку. Вѣдь если бы гора была святою въ значеніи язычества, то на ней не было бы совершаемо казней, такъ какъ священныхъ горъ никто не смѣлъ позорить никакимъ смертоубійствомъ“.

Поможемъ г. Нарбутту въ его анахронизмъ: 14 францисканскихъ миноритовъ были замучены виленцами не въ 1333, а 6 марта 1365 года; спустя же 4 года, въ 1369 году, погибли такую же смертію францискане и въ Лидѣ. На „крестовой горѣ“ въ Вильнѣ распято не 7, а 3 минорита, остальные 11 человѣкъ частію перебиты на „Антоколѣ“ и частію обезглавлены на рынкѣ. Наконецъ, по преданіямъ, *Кейстутъ* приказалъ повѣсить на *мысой горѣ* измѣнника *Войдыллу*. Это дѣйствительно служитъ доказательствомъ, что *мысая гора* не считалась у литовцевъ святою и въ этомъ отношеніи мы съ Нарбуттомъ согласны.

Но горѣ, почитаемыхъ литовскими язычниками, было много.

Въ „Сборникѣ Матеріаловъ по Этнографіи“, изд. при Дашковскомъ этногр. музеѣ, Москва, 1887 г., Трейландъ (Бривземніаксъ), на стр. 28, свидѣтельствуешь, что въ одной только латышской части Прибалтійскаго края насчитывается больше 330 горъ, на которыхъ находятся древнія городища и называются онѣ на мѣстѣ „замковыми горами“ (Pilskalni, Schlossberge). „Это тѣ возвышенныя мѣста,—говорить онъ,—которыя отчасти рукою человѣка укрѣпленныя, могли служить въ древности убѣжищемъ для окрестныхъ жителей, во время непріятельскихъ нашествій. Полагають, что эти городища (по крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ нихъ) служили также мѣстами для жертвоприношеній и что, вѣроятно, въблизи этихъ жертвенниковъ или языческихъ святилицъ—а быть можетъ и на нихъ самихъ—имѣли свое мѣсто-пребываніе жрецы латышско-литовскаго культа *Перкуна*“.

---

## IV.

# ВСЕМІРНЫЙ ПОТОПЪ

по тремъ сказаніямъ.

О потопѣ, въ періодѣ нынѣшней геологической формации земнаго шара, существуютъ три сказанія: *библейское, греческое и литовское*. Быть можетъ на дальнемъ востокѣ есть сказаній этихъ и больше; но отысканіе ихъ—дѣло ориенталистовъ.

*Потопъ Библейскій* извѣстенъ каждому школьнику изъ ветхонавѣстной исторіи. Боговдохновенный бытописатель отозвался о немъ и кратко, и категорически, не опредѣляя времени его и не давая ни малѣйшаго повода къ другимъ произвольнымъ толкованіямъ и умствованіямъ. Между тѣмъ, нѣкоторые латинскіе писатели первыхъ десяти вѣковъ христіанской эры забрели въ невылазную трясиину фанатическихъ умствованій и даже установили годъ, мѣсяцъ и число всемірнаго потопа. Отголоскомъ всѣхъ этихъ писателей явился каноникъ жмудскій Стрыйковскій, который въ „Хроникѣ“ своей, написанной въ 1582 году, говоритъ о потопѣ, между прочимъ, слѣдующее:

„Ной, имѣвшій отъ роду 600 лѣтъ, вступилъ въ ковчегъ съ женою своею, сыновьями: Симомъ, Хамомъ и Іафетомъ и женами ихъ: Титеею, Пандерою и Ноэлою

(по увѣренію Берозуса); а въ 1656 (?) году отъ сотворенія міра, 17 апрѣля (?) начался самый потопъ, который продолжался 150 дней, а Ной жилъ въ ковчегѣ 13 мѣсяцевъ. Ковчегъ остановился въ Арменіи на очень высокой горѣ Таугус, а по Берозусу—на горѣ Gordieus; по Епифаніусу же—въ Карденской странѣ, на горѣ Араратъ и Любаръ, гдѣ и до нынѣ еще видны остатки этого ковчега“. (?)

Критическій разборъ сказаній Стрыйковскаго и цитируемыхъ имъ писателей не составляетъ предмета настоящей статьи.

---

*Потопъ Греческій* также хорошо извѣстенъ знатокамъ греческой миѳологіи; а кто въ ней нынче не знатокъ? Мы не похвалимся знаніемъ славянской миѳологіи; но сознаться, что не знаемъ греческой и римской,—было бы стыдно.

Всѣ греческія сказанія о всемірномъ потопѣ сводятся къ слѣдующему:

Зевсъ истребилъ потопомъ буйную породу *людныхъ людей*, соотвѣтствовавшую скандинавскимъ Гримтурсамъ. Онъ послалъ сильный проливной дождь, такъ что вся Эллада покрылась водою и всѣ обитатели ея потонули. Спаслись только *Девкаліонъ* и *Пирра*. По совѣту Прометея, Девкаліонъ построилъ ящикъ и вошелъ туда вмѣстѣ съ женою. *Девять дней* и *девять ночей* носились они по волнамъ, а когда гроза стихла, пристали къ горѣ и принесли жертву Зевсу—тучегонителю. Созданіе людскаго рода изъ камней засвидѣтельствовано греческимъ миѳомъ о томъ же Девкаліонѣ, которому, послѣ потопа, Гермесъ далъ повелѣніе бросить чрезъ себя кости матери-земли, т. е. камни; всѣ камни, брошенные имъ, обратились въ юношей, а тѣ, которые бросила жена его Пирра—въ дѣвъ.

---

*Потомъ Литовскій* извѣстенъ только изъ весьма сомнительнаго источника, приводимаго Нарбуттомъ въ его „Исторіи литовскаго народа“ (Т. I. стр. 1—5).

Нарбуттъ, основываясь на Стрыйковскомъ и Ласицкомъ, при разработкѣ литовской мифологіи, выводитъ какую то особую градацію—или вѣрнѣе—генеалогію литовскихъ боговъ, хотя и признаетъ, что народъ, не смотря на тысячи своихъ божествъ, чувствовалъ существованіе какого то высшаго Бога, котораго назвать не умѣлъ, но вѣровалъ, что онъ придетъ судить родъ людской въ послѣдній день. Этому невѣдомому Богу народъ присвоилъ названіе Auktheias, Wissagistis (omnipotens, всемогущій). Въ то же время Нарбуттъ создаетъ двухъ высшихъ боговъ: *Оккапирмаса*, бога всѣхъ боговъ и *Прамжимаса*, или *Прамжу*, сына его, отца всѣхъ боговъ. Прамжимасъ значитъ собственно *предопредѣленіе, судьба, рокъ*. По Нарбутту, онъ признаетъ Оккапирмаса своимъ отцомъ, начертавшимъ на камняхъ будущія судьбы цѣлаго міра и сознается, что онъ, сынъ, не въ силахъ измѣнить ни одной черты въ этихъ предначертаніяхъ.

Оккапирмасъ никогда не былъ богомъ, а значилъ только извѣстное протяженіе времени—и никакъ не болѣе *одного года*; празднество въ честь этого мнимаго бога *Оккаитгимимасъ* было только праздникомъ провожанія стараго года и встрѣчи новаго. Прамжимасъ также не былъ никогда богомъ, но, какъ самое названіе его доказываетъ, былъ только *судьбою* всего живущаго, предназначенною каждому свыше.

Литовскій народъ, какъ и всѣ другіе народы земного шара, вѣрилъ и до нынѣ вѣрить въ *судьбу, рокъ*; вѣрилъ, что всякому человѣку назначена своя *судьба*, но ни одинъ народъ не считалъ судьбу своею святостью, не молился ей и не приносилъ жертвъ.



Славяне также не обоготворяли *судьбу, рокъ, долю*. Объ этомъ свидѣтельствуемъ Прокопій словами: „Fatum minime norunt, nedum illi in mortalis aliquam vii adtribuunt“.

М. О. Кояловичъ въ „Чтеніяхъ по исторіи Западной Россіи“ (Спб. 1884) приводитъ даже бѣлорусскую пѣсню о *Долѣ*:

„Еще бо я не радзилася,  
Лиха *доля* прицапилася;  
Еще бо я въ пелюшкахъ лежала,  
Лиха *доля* за ноженьки держала;  
Еще бо я коло лавки хадзила,  
Лиха *доля* за рученьки вадзила“.

Между тѣмъ, Нарбуттъ приписываетъ Прамжимасу небывалыя качества и силу. Гдѣ то онъ, Нарбуттъ, добылъ „Народную Легенду“, описывающую всемірный потопъ и носящую названіе *Секиме* или *Кляузиме*, хотя по литовски потопъ называется *Паскиндимасъ*, а простое наводненіе *тванай*. Впрочемъ, извѣстно, что Нарбуттъ не зналъ литовскаго языка, хотя и былъ природнымъ литвиномъ.

Откуда эту легенду взялъ Нарбуттъ, онъ не говоритъ; но едва ли онъ не записалъ ее прямо съ какого нибудь разсказа и, по обыкновенію, не очистивъ ее критикою, цѣликомъ помѣстилъ въ I томѣ на стр. 1,—такъ какъ въ ней не сохранилось ни одного имени изъ числа уцѣлѣвшихъ отъ потопа людей. Отвѣтственность за достоверность этой легенды всецѣло остается на Нарбуттъ. Вотъ что разсказываетъ о всемірномъ потопѣ *Секиме* или *Кляузиме*.

Въ горнемъ небесномъ пространствѣ есть дворецъ, называемый *Прамжу*, въ которомъ обитаетъ *Прамжимасъ*, что значитъ *всевѣдущій* (?). А какъ власть его

распространяется надъ небомъ, воздухомъ, водою и землею и надъ всѣми существами, живущими какъ внутри, такъ и на поверхности ихъ, то власти его нѣтъ предѣловъ. Въ первые года мірозданія, юная земля, какъ и все въ молодости, была прекрасна, чиста и дышала блаженствомъ, но скоро люди испортились: изъ-за благъ земныхъ возникли между ними войны, ненависть, измѣна; братъ убивалъ брата, отецъ проклиналъ сына, мать — дочерей, дѣти — родителей. Однажды Прамжимасъ, присматриваясь къ землѣ изъ оконъ своего дворца, былъ возмущенъ тѣмъ, что на ней увидѣлъ — и не узналъ своей земли: междуусобныя войны, наѣзды, разбои, тайныя убійства, беззаконія, развратъ и всѣ преступленія охватили, словно зараза, всѣ страны и залили лице земли кровью. „Такъ это-то мой свѣтъ? Такъ это-то мои дѣти?“ воскликнулъ онъ. „Гдѣ же тотъ миръ и согласіе, которые я насадилъ? Гдѣ тѣ добродѣтели, которыя насадилъ я въ душѣ cadaго?“ — сказалъ и собственною рукою отверзъ врата бездны, изъ которой вызвалъ двухъ духовъ-гигантовъ: *Ванду* (воду) и *Вѣтлю* (вѣтеръ), враждебныхъ другъ другу, невообразимо свирѣпыхъ — и бросилъ ихъ на землю. Земля плоска и кругла, словно тарелка, и злобные духи, схвативъ ее за края, начали, въ теченіе 20 дней и 19 ночей, трясти и колыхать съ такою силою, что всѣ моря подвѣлились, выступили изъ береговъ, залили всю землю съ горами и погубили всякую тварь. Прамжимасъ вторично выглянулъ въ окно, въ то самое время, когда ѣлъ небесные орѣхи, которые растутъ въ саду его дворца. Видя ужасное опустошеніе земли и замѣтя, что на самой вершинѣ одной горы пріютилось нѣсколько паръ людей, звѣрей и птицъ, которыхъ вода готовилась поглотить, онъ сжалился надъ ними и бросилъ имъ шелуху орѣха, въ которую немедленно вскочили всѣ оставшіяся въ живыхъ существа — и понеслись по водному пространству. Злобные гиганты

бесильны были потопить скорлупу божескаго орѣха— и потому ничего не могли сдѣлать несчастнымъ, спасшимся въ ней. Наконецъ, богъ (?) въ третій разъ взглянулъ на землю. При видѣ плавающихъ на ней отвратительныхъ морскихъ чудовищъ, среди мрака и бѣшенства волнъ, ему стало жаль погубленныхъ людей и всѣхъ животныхъ. Онъ схватилъ духовъ-гигантовъ, бросилъ ихъ въ бездну и захлопнулъ за ними ворота. Моря успокоились, улеглись, рѣки вошли въ свои берега, земля просохла, зазеленѣла снова и небо засіяло прежнимъ блескомъ. Люди, звѣри и птицы разсѣялись по лицу земному, а одна пара людей осталась въ томъ краѣ, изъ котораго беретъ свое начало народъ литовскій и не могли имѣть потомства, потому что оба были стары. Когда старики горевали надъ своимъ одиночествомъ, Прамжимасъ послалъ имъ въ утѣшеніе *Лингсминну* (радугу), которая посовѣтовала имъ, чтобы они перепрыгивали чрезъ камни, которые отъ того будутъ превращаться въ людей. Старики начали прыгать; но, по причинѣ дряхлости своей, успѣли перескочить только по 9 разъ: гдѣ перескакивалъ старикъ, родилось 9 юношей, гдѣ перепрыгивала старушка, появилось 9 дѣвусекъ. Эти новые потомки и были родоначальниками девяти колѣнъ литовскихъ; прочія же людскія пары, разсѣявшіяся по землѣ, произвели на свѣтъ тѣ народы, которые ненавидятъ литовцевъ и преслѣдуютъ ихъ войнами.

Легенду эту воспроизвелъ Крашевскій въ поэмѣ своей „Витолерауда“, вложивъ ее въ уста Креве-Кревейто (верховнаго жреца) Ромоиса.

Легенда, однако же, не выдерживаетъ никакой критики. Прамжимасъ не могъ произвести всемірный потопъ, потому что *не былъ богомъ*, а почитался только *судьбою, рокомъ* земли—и слѣдовательно, зависѣлъ отъ кого-то свыше. Если допустимъ, что онъ былъ самъ законода-

телемъ *судебъ* и погибель земли начерталь на камнѣ въ первый день ся творенія, то онъ зналъ давно о предстоящемъ потопѣ и ему не было надобности поражаться видомъ людского разврата. Если Прамжимасъ зависѣлъ отъ кого-либо свыше,—напримѣръ, хотъ отъ мнимаго отца своего Оккапирмаса, то безъ воли послѣдняго онъ не посмѣлъ бы истреблять дѣло рукъ его, а ежели дѣйствовалъ по предвѣчному начертанію отца своего, то не имѣлъ права отмѣнить приговора и слѣдовательно также не было ему надобности возмущаться беззаконіями человѣческими. Прамжимасъ отнюдь не былъ создателемъ міра; между тѣмъ, легенда рассказываетъ о творцѣ вселенной. Скорѣе можно допустить, что невѣжественный авторъ *Секиме* или *Кляузиме* облекъ въ грубую форму бога, пожирающаго орѣхи, то верховное существо, которое онъ чувствовалъ сердцемъ, но назвать не умѣлъ; пытался олицетворить того создателя жизни, который придетъ на судъ въ послѣдній день и для котораго народъ литовскій не имѣлъ другого названія, кромѣ *Auxtheias*, *Wissagistis*,—и имя Прамжимаса присвоилъ ему произвольно.

Все преданіе о *литовскомъ потопѣ*, очевидно, есть извращеніе потоповъ Ноя и Девкаліона, такъ какъ орѣховая шелуха напоминаетъ собою ноевъ ковчегъ и девкаліоновъ ящикъ, а прыганіе черезъ камни отождествлено съ бросаніемъ ихъ чрезъ себя Девкаліономъ и Пиррою, отъ которыхъ греки выводятъ свое происхожденіе.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что литовскій всемірный потопъ былъ произведенъ не *Прамжимасомъ* и не *Оккапирмасомъ*, а неизвѣстною таинственною силою, *создавшю жизнь*.

## V.

# АУШЛЯВИСЬ (ЖАЛТИСЬ)

## Литовскій Богъ врачеванія.

Морочившій въ теченіе трехъ столѣтій ученый міръ польскій писатель Стрыйковскій насаждалъ цѣлыя горы вздору о литовскихъ богахъ и почти всѣхъ ихъ поголовно кормилъ курами и каплунами, приносимыми будто бы имъ въ жертву. Объ Аушлявисѣ, на стр. 144 „Хроника“ своей, говоритъ: „Аушлявисъ—богъ безсильныхъ, больныхъ и здоровыхъ“ (?) и этимъ отдѣляется отъ него разъ навсегда, даже не предназначая ему въ жертву ни одной курицы.

Нарбуттъ (*Литов. исторія, т. I.*) къ опредѣленію этому, вмѣсто „здоровыхъ“, прибавляетъ: „выздоровливающихъ“. Вѣроятно, тоже самое хотѣлъ сказать и Стрыйковскій, такъ какъ здоровому врачъ не нуженъ.

*Аушлявисъ* былъ миѳическій врачъ. Литовцы читли его въ формѣ большого ужа. У нихъ также существовали такіе кудесники или заклинатели змѣй, которые носили ихъ за пазухою, показывали народу и увѣряли, что если опасное могли сдѣлать безвреднымъ, то съумѣютъ излечить и всякую немочь. Они называли себя учениками и почитателями бога здравія.

У пруссовъ—говорить Нарбуттъ на стр. 90—онъ особенно былъ чтимъ: нѣкоторыя мѣстности (?) были исключительно посвящены ему одному и тамъ имѣли пребываніе разные кудесники и знахари, которые отъ укушенія разныхъ ядовитыхъ гадовъ лечили заговариваніемъ и другими, имъ извѣстными способами.

Латыши называли его *Аускууцъ*. У нихъ онъ былъ не только покровителемъ врачеванія людей и домашнихъ животныхъ, но и охранителемъ отъ всякаго рода заразы. Жертвы приносились ему сборныя, называемыя *собарри* и состоявшія въ томъ, что во время наступленія эпизоотіи покупали въ складчину откормленнаго кабана и закалывали его для умилоствленія божества. Вѣрованіе въ этого божка сохранилось въ простомъ народѣ отчасти донынѣ, такъ какъ и теперь, при видѣ на спинахъ овецъ лысинъ, происходящихъ какъ бы отъ выстриженной или вырванной шерсти, въ цѣлой деревнѣ поднимаются вопль и стenanія отъ убѣжденія, что это есть предзнаменованіе моровой заразы и надежа. Штендеръ увѣряетъ, что онъ еще самъ былъ свидѣтелемъ той паники, какую производилъ въ народѣ *Аушлявисъ* или *Аускууцъ*.

Латыши домашнихъ ужей называли также *Чускасъ*.

Въ Россіи и особенно въ Малороссіи также окружали ужей какимъ-то благоговѣйнымъ почитаніемъ.

Михелонъ говоритъ, что *Аушлявису* въ Литвѣ, точно такъ же, какъ Эскулапу въ Римѣ, были воздаваемы почести въ формѣ ужа. („*Maxime cultu Aesculapii, qui sub eadem, qua Romam ab Epidaurο commigraverat, serpentis specie colitur*“.—*In fragmentis apud Elzevir*). Это мы видимъ и до нынѣ: на всѣхъ медицинскихъ эмблемахъ фигурируетъ ужъ.

Въ древности поклоненіе ужамъ было всеобщее; имъ поклонялись Индійцы, Халдеи, Египтяне, Персы, Фивикіяне, Греки, Римляне, Готты и многіе другіе наро-

ды.—Юлій Цезарь нашелъ почитаніе ужей у народовъ пиривейскихъ. (Scaliger exercit. 183. sect. 3).

Нарбуттъ говоритъ (*т. I, стр. 148*), что, по Геродоту, Египтяне боготворили извѣстнаго рода ужей и будто по Плутарху, у Аѳинянъ прирученные ужи принимали участіе въ обрядахъ, называемыхъ „Dionisiades“, которые совершались въ честь *Вакха* (?). Римляне имѣли божка „Famulus“, который являлся народу въ видѣ ужа (?).

„Вообще—доказываетъ Нарбуттъ (стр. 149),—существовало убѣжденіе, что ужъ есть очень мудрое созданіе и по причинѣ ежегоднаго возобновленія кожи своей почитался безсмертнымъ“.

Дѣйствительно, почитаніе ужа было въ Литвѣ чрезвычайно распространено. Общее названіе его было *Жалтисъ*, ужъ. Его считали божкомъ, ему приписывали сверхъестественную силу, считали добрымъ геніемъ домашнимъ, держали въ домахъ, воспитывали, кормили, спали съ нимъ вмѣстѣ и нисколько его не боялись. Ужи съ своей стороны нисколько не страшились человѣка, освоились съ нимъ, лезли ему на шею, пили молоко изъ одной миски съ хозяйскими дѣтьми—и это сохранялось даже въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія, если не сохраняется еще и до сихъ поръ. Въ святилищахъ боговъ ужи имѣли особо устроенныя для себя логовища, въ которыхъ были чествуемы вмѣстѣ съ прочими священными гадами или *Фетишами*, по-литовски *Гивойте*.

Съ введеніемъ христіанства, католическое духовенство начало сжигать торжественно на площадяхъ этихъ незлобивыхъ животныхъ тысячами.

Э. А. Вольтеръ въ примѣчаніяхъ къ „Литовскому Катехизису“ Даукши (*стр. 128*) свидѣтельствуетъ: „Залчліс, залтис, ужъ. По Куршату, въ Вилькомірскомъ уѣздѣ говорятъ: жалктис и залтыс—ужъ; жалктыча—дочь змѣи; жалктіене—змѣиха, жена змѣи. Слово желектис, въ сны-

слѣ большого змѣя дракона, встрѣчается въ одной легендѣ о лынгмянскомъ городищѣ (по-литовски *тылекалнисъ*). Такихъ змѣевъ было три: Лингманас (лынгмянскій), Вілнанас (виленскій) и Ригманас (рижскій). Но это были наши легендарные *Зміи-Горынычи*.

Ласицкій, въ главѣ о древнихъ литовскихъ обрядахъ, говоритъ:

„Въ извѣстный праздникъ, приглашенный жрецъ молитвами и заклинаніями, вызывалъ домашнихъ ужей, которые вылезали изъ норъ и по бѣлому полотенцу вспазывали на столъ, гдѣ пробовали разныя, приготовленныя для нихъ кушанья, послѣ чего эти самыя блюда поѣдались самими хозяевами и ихъ гостями. Но если ужь не хотѣли выходить изъ норъ или ѣсть предложенную имъ пищу, то это было предзнаменованіемъ большого несчастія для дома“.

Во время „Праздника Весны“, по-литовски „*Сутинкай*“, божку *Аушлявису*, въ числѣ прочихъ важнѣйшихъ боговъ, также приносили жертвы и просили его объ отращеніи всякихъ болѣзней.

Крашевскій, въ поэмѣ своей „Миндовсъ“, разукрасилъ *Аушлявиса* поэтическимъ своимъ вымысломъ и придалъ ему слѣдующую форму:

„Статуя его изображалась въ видѣ громаднаго ужа, съ открытою пастью, изъ которой торчалъ серебряный языкъ, какъ бы угрожавшій людямъ. Въ значительныхъ храмахъ на немъ было навѣшано всегда столько жертвъ, что подъ ними исчезали не только его кожа, но и всѣ формы ужа, а у подножія его еще лежали горы даровъ, которыми покупали у него здоровье и простолоудины, и князья“.

Здѣсь необходимо замѣтить, что въ формѣ ужа, свитаго спиралью, изображался также и богъ морей *Атримпосъ*; но послѣдній представлялся съ головою молодого человѣка, украшенною короною.



Ни объ одномъ изъ фетишей нѣтъ столько легендъ, сколько о *Жалтисъ*. ужъ. Хотя Крашевскій и не можетъ считаться авторитетомъ вообще, не менѣе того, однако же, одна легенда о *Жалтисъ*, поэтически рассказанная имъ въ „Витолераудѣ“, заслуживаетъ повторенія, какъ дѣйствительно живущая въ народѣ и могущая служить нагляднымъ образчикомъ народнаго творчества. Вотъ она въ краткомъ содержаніи.

## I.

### Жалтиса супруга.

Пошла *Эгле* (*эгле*—по-литовски—*ель*) съ сестрами, вечернею порою, въ озеро купаться. Долго дѣвушки плескались въ волнахъ, пока не взошелъ мѣсяцъ. Дѣвушки возвратились къ своей одеждѣ; но *Эгле* съ ужасомъ увидала, что въ рукавѣ ея рубашки лежитъ свернувшись ужъ. Она начала кричать. Сестры предложили прогнать ужа палкою или камнями, но стояли очарованныя и не могли двинуться съ мѣста. Вдругъ ужъ заговорилъ человѣческимъ голосомъ:

— Я выйду, *Эгле*, самъ, ежели ты обѣщаешь быть моею женою.

Дѣвушка застыдилась, заплакала, просила ужа сойти съ рубашки, потому что ей холодно; но *Жалтисъ* твердилъ одно: „обѣщай, обѣщай!“ *Эгле* отговаривалась, что назначеніе ей мужа зависитъ отъ родителей; но *Жалтисъ* упорно твердилъ одно и тоже: „обѣщай, обѣщай!“ Тогда старшая сестра шепнула *Эгле* на ухо:

— Да обѣщай же ему; что тебѣ значить? Лишь бы освободилъ рубаху.

*Эгле* улыбнулась и сказала:

— Ну, обѣщаю!

Ужъ тотчасъ выползъ изъ сорочки. Но едва дѣвушки вернулись въ село и вошли въ свою *нуму* (избу), какъ на селѣ раздались голоса:

— Сваты ѣдутъ! Сваты ѣдутъ!

Эгле спряталась въ амбаръ. Три Жалтиса, съ поднятыми вверхъ головами, вѣхали въ большомъ корытѣ на дворъ Эгли. Старшій изъ нихъ обратился къ родителямъ ея съ такою рѣчью:

— *Жалтисъ*, нашъ богъ, прислалъ насъ за своею невѣстою. Она обѣщала быть его женою. Сотня насъ ужей слышала обѣтъ. Благословите, родители, дочь и отдайте ее намъ!

Родители въ слезахъ и горѣ. Слыханное ли дѣло: выдать дочь замужъ за ужа?—Вотъ бросились они за совѣтомъ къ колдуньѣ, *Рагутенъ* \*): помоги намъ въ горѣ!“

Жрица не знала, что дѣлать. Долго чесала у себя за ухомъ. „Зачѣмъ Эгле обѣщала?“ Но это не совѣтъ. Родители и сами знали, что обѣщать не слѣдовало. И вотъ, надумавшись, сказала:

— Жалтисовъ обмануть не трудно: дайте имъ, вмѣсто дѣвушки, бѣлую гусыню.

Родители такъ и сдѣлали: посадили въ корыто бѣлую гусыню. Жалтисы поблагодарили, весело засычали, проѣхали село и поѣхали бы дальше, но вдругъ *Гегуже* (кукушка) закуковала имъ съ дерева:

— Куку, куку! Простофили сваты! Васъ обманули: вамъ дали бѣлую гусыню, а невѣста Жалтиса прячется въ амбарѣ. Ступайте назадъ и требуйте дѣвицу!

Вернулись сваты въ село, выбросили гусыню и съ гнѣвомъ стали требовать дѣвицу. Снова родители закручинились и опять обратились къ той же кудесницѣ.

---

\*) Жрица бога *Рагутиса*, литовскаго Валуся.

— Дайте имъ бѣлую овцу, посоветовала жрица—и родители отдали бѣлую овечку.

Жалтисы поблагодарили, весело засычали, проѣхали село и поѣхали бы дальше, но Гегуже опять раскрыла обманъ.

Вернулись сваты въ село и еще съ большимъ гнѣвомъ начали требовать дѣвицу. Родители, по совѣту Рагутени, дали имъ бѣлую телку, но злобная Гегуже опять осмѣяла сватовъ и воротила ихъ въ село; потомъ дали старшую дочь; но и съ нею повторилась та же исторія, что съ гусынею, овечкою и телкою.

Съ крикомъ, бранью и угрозами возвратились сваты въ село и подняли тамъ такую бурю, что сама Рагутеня испугалась и посоветовала отдать Эгле.

Сваты уѣхали изъ села, но уже назадъ не вернулись, потому что Гегуже закуковала имъ съ дерева:

— Куку, куку! Хорошіе сваты! Торопитесь къ озеру: Жалтисъ давно на берегу ждетъ свою невѣсту. Куку, куку!

Эгле плачетъ, Эгле стонетъ, передъ смертью трепещетъ... Вотъ и озеро... на берегу ждетъ ее—но не отвратительный ужъ, а юный красавецъ, водяной богъ, въ образѣ человѣка.

## II.

### Жалтиса шурья.

Пять лѣтъ была счастлива Эгле въ глубинахъ водныхъ съ юнымъ супругомъ. Другіе пять лѣтъ была уже менѣе счастлива, потому что,—хотя и имѣла троихъ дѣтей—двухъ сыновей и одну дочь—но тосковала по роднымъ своимъ, по землѣ, по зеленымъ лугамъ ея. Какъ ни ласкалъ ее мужъ, какъ ни заботился о ея счастіи, тосковала Эгле и все домой просилась.

— Хорошо, поѣдешь на будущей недѣлѣ! отвѣчалъ ей супругъ—и такъ прошло нѣсколько лѣтъ.

Эгле плачетъ, Эгле стонетъ, Эгле просится домой.

— Я съ тобой разстанусь не надолго: чрезъ три дня вернусь; пусти меня къ отцу, къ матери!

Мужъ не могъ выдержать долѣе, разрѣшилъ ей поѣхать, но тогда, когда износитъ желѣзныя башмачки, которые изъ стали сковалъ на ея ножки самъ богъ кузнецовъ. Взяла Эгле башмачки, бросила ихъ въ огонь, пережгла на уголь, день походила и башмачки развалились.

— Вотъ я башмачки износила; теперь нѣтъ препятствій къ отъѣзду; начну печь пироги на дорогу! сказала супруга.

— Пеки пироги на дорогу, отвѣтилъ супругъ; но я утопилъ всю посуду и ты должна наносить на нихъ воду рѣшетомъ. Ежели воды не наносишь и пироговъ не напечешь, объ отъѣздѣ и не думай.

Долго думала Эгле. Наконецъ, хлѣбнымъ тѣстомъ залѣпила рѣшето, наносила воды, напекла пироговъ и сказала мужу, что готова въ дорогу.

Горько плакалъ Жалтисъ, прощаясь съ женою и дѣтьми.

— Когда ты возвратишься и станешь на берегу, Эгле, то вызывай меня трикратно слѣдующими словами: „Мой мужъ! жена тебя ожидаетъ: проявись на водѣ, если живъ, молочною пѣною, а если умеръ, то пятномъ кровавымъ“.

Сколько радостей было по пріѣздѣ Эгли домой! Всѣ считали ее давно уже утопшею и не могли съ нею наговориться.

Прошло три дня. Родные уговорили ее остаться еще на три дня.

Братья Эгли, шурья Жалтисовы, поѣхали на ночь въ дремучій лѣсъ и пригласили съ собою старшаго ея

сына, чтобы онъ разбудилъ ихъ на утреннюю работу. Гдѣ то далеко въ глуши развели огонь, легли вокругъ него и, лаская мальчика, начали разспрашивать его, какими словами, по возвращеніи на озеро, мать будетъ вызывать отца? Мальчикъ отвѣчалъ: „Не знаю! это знаетъ мать“. Дяди начали грозить племяннику и приготовили десять пучковъ розогъ; но мальчикъ твердилъ одно: „Не знаю! это знаетъ мать“. Тогда дяди начали его сѣчь, избили на немъ всѣ розги, но мальчикъ упорно говорилъ одно и то же.

Вернулись домой изъ лѣсу.

— Отчего у тебя глаза красные? спросила мать.

— Дрова были очень смолисты и вѣтеръ гналъ дымъ отъ костра прямо въ глаза! отвѣчалъ сынъ.

На другую ночь дяди взяли съ собою въ лѣсъ младшаго племянника и также напрасно изсѣкли его, не добившись ничего. На третью ночь взяли съ собою племянницу—и та подъ розгами выдала тайну. Тогда братья, вооружившись косами, поспѣшили на озеро и начали вызывать Жалтиса:

— Мой мужъ! жена тебя ожидаетъ: проявись на водѣ, если живъ, молочной пѣною, а если умеръ, то пятномъ кровавымъ.

Послѣ третьяго заклинанія поверхность озера покрылась бѣлою пѣною и изъ нея вынырнулъ молодой красавецъ, который радостно вышелъ на берегъ встрѣчать любимую жену и дѣтей. Но шурья его выскочили изъ лѣсу, отрѣзали ему путь къ отступленію и косами искропили въ куски.

Пришелъ послѣдній день пребывания Эгли въ гостяхъ. Вернулась она къ своему озеру и произнесла заклинаніе. Послѣ третьяго раза поверхность озера покрылась кровью и изъ глубины послышался голосъ:

— Это кровь моя, Эгле! твои братья косами искропили меня въ куски.

Зарыдала бѣдная Эгле.

— Что же я съ собою и съ дѣтьми сдѣлаю? Не вернуться же мнѣ въ домъ родительскій, чтобъ братья-убійцы смѣялись надъ моими вдовьими слезами!... О, лучше было бы всеѣмъ намъ почить въ одной могилѣ или вмѣстѣ съ моими дѣтьми вроссти на вѣки въ эту землю!!...

Эгле плачетъ, Эгле стонетъ, Эгле смерти просить... Но вотъ боги сжалились надъ нею и превратили ее въ плакучую *ель*, съ опущенными внизъ вѣтвями, словно съ повисшими руками и распущенными волосами; старшаго сына въ могучій *дубъ*, младшаго въ кудрявый *ясень*, а дочь въ вѣчно дрожащую листвою своею *осину*.

Легенда эта въ высшей степени поэтична и сохранила свой чисто-языческій характеръ, тогда какъ ко многимъ другимъ примѣшиваются изобрѣтенія христіанскаго культа, какъ видимъ, на примѣръ, въ сборникѣ Фекенштедта: „Die Legenden, Sagen und Mythen der Zarmaiten“.



## VI.

# ПРАУРИМА,

ЛИТОВСКАЯ БОГИНЯ ОГНЯ.

*Праурима*—богиня священнаго огня, одно изъ самыхъ поэтическихъ, хотя и мало изслѣдованныхъ божествъ древняго литовскаго міра. Только *Перкуну* и ей былъ посвящаемъ неугасаемый огонь, который пылалъ на алтаряхъ въ капищахъ этихъ божествъ.

Блюстителями перкуновскаго огня были *Вейдалоты*, а прауримовскаго—*Вейдалотки*, по-литовски *Вейдалотени*, которыя за доущеніе огню угаснуть также были наказываемы смертію.

Эта богиня въ отношеніи женщинъ была тѣмъ, чѣмъ былъ *Перкунз* въ отношеніи мужчинъ.

У литовцевъ каждый мѣсъ былъ мужскаго рода, когда онъ относился къ мужчинамъ и женскаго, когда касался женщинъ; словомъ, каждое божество считалось въ двухъ полахъ. Отъ того *Перкунз* и *Праурима* составляли какъ бы двѣ половины одного и того же божества. Латыши боговъ называли Тевсъ, отецъ, а богинь Мате, мать—и вѣровали, что каждый предметъ имѣлъ отдѣльное свое божество. (*Штендеръ*. „Lett. Gram. Art. Myth.“).

Рукопись Петра-епископа говоритъ о Прауримѣ слѣдующее: „У литвиновъ сохраняется почитаніе, связанное съ разными суевѣріями, ложной богини, называемой *Прауримю*, на подобіе *Весты* или *Cybelli* древняго Рима. Простой народъ считаетъ ее непорочною дѣвою, богинею огня и подательницею жизни. Ей посвящаютъ огонь, почитаемый вѣчнымъ, потому что никогда не угасаетъ на алтарѣ ея. Служать ей также дѣвицы въ качествѣ жрицъ, которыхъ называютъ Прауримъ (?). На ихъ строгой обязанности лежитъ блюсти огонь, чтобы онъ никогда не погасалъ. Эти дѣвицы должны до самой смерти сохранять свою чистоту и за нарушеніе обѣта ея, по законамъ страны, были наказываемы страшною смертію“.

Ниже увидимъ, что Вейдалотки не на всю жизнь оставались въ безбрачїи и что смертію наказывались онѣ за нарушеніе дѣвческаго цѣломудрїя только въ духовномъ своемъ санѣ.

Стрыйковскій, описывая женитьбу *Кейстута* на *Бирутѣ*, доказываетъ, что послѣдняя была *Вейдалоткою*, или, по его словамъ, *Весталкою* и что богинѣ *Прауримѣ* было посвящено нѣсколько капищъ, именно: а) въ *Полунгѣ* (Полангенѣ), лежащей на морскомъ берегу, на святой горѣ; б) надъ рѣкою Невяжею; в) въ Вильнѣ (?) и въ другихъ мѣстахъ.

Изъ всѣхъ, однако же, историческихъ изслѣдованій оказывается, что капище *Прауримы* существовало въ одной *Полунгѣ*, сначала до конца язычества въ Литвѣ, потому что состояло подъ особою охраною Меченосцевъ и не было преслѣдуемо ими, какъ перкуновское *Ромнове*, которое должно было вслѣдствіе того перекочевывать много разъ съ мѣста на мѣсто, покуда окончательно не утвердилось въ Вильнѣ, въ долину *Свято-рога*. Причины охраны этого капища рыцарями были слѣдующія:



Великій магистръ ордена меченосцевъ Винрихъ фонъ-Книппроде (умершій въ 1382 году), послѣ овладѣнія Жмудью, очень усердно занялся истребленіемъ всѣхъ языческихъ храмовъ, жертвенниковъ и истукановъ; но при святилищѣ *Праурилы* въ Полангенѣ учредилъ особый караулъ и запретилъ рыцарямъ, подѣ страхомъ смертной казни, входить въ самое капище и чинить малѣйшія притѣсненія блюстительницамъ неугасаемаго огня, за который отвѣчали онѣ жизнью. Огонь этотъ былъ готовымъ, ничего не стоящимъ ордену и самымъ надежнымъ маякомъ для ганзейской торговли и мореплавателей того времени, что умѣлъ вполне оцѣнить великій магистръ. (*Мстныя народн. преданія*).

О богинѣ *Праурилы* какъ въ исторіи, такъ и въ народной памяти сохранилось очень мало слѣдовъ. Въ легендахъ и пѣсняхъ очень много говорится о *Вейдалотеняхъ* и очень мало о самой богинѣ. Въ латышскомъ языкѣ осталось одно слово, близко подходящее къ названію богини: *praulis*, но и то значитъ пожаръ.

*Вейдалотеню* за нарушеніе обѣта дѣвственности наказывали жестокою смертю: или распинали нагую на столбѣ и потомъ живьемъ сжигали, или живую зарывали въ землю, или, наконецъ, зашивали въ кожаный, нагруженный камнями, мѣшокъ, вмѣстѣ съ кошкою, собакою и ядовитою змѣею и топили въ морѣ или въ рѣкѣ.

У жителей м. Румшишки надъ Нѣманомъ сохранилось много легендъ о казни Вейдалотокъ за нарушеніе обѣта цѣломудрія. Вотъ одна изъ нихъ:

Разъ „святая дѣвица“ обвинена была въ любовной связи съ какимъ-то неизвѣстнымъ рыцаремъ, и въ то время, когда ее везли на двухъ черныхъ коровахъ, чтобъ зашить въ мѣшокъ, вмѣстѣ съ кошкою, собакою и змѣею и потомъ утопить въ Нѣманѣ, вдругъ выскочилъ изъ пучины водъ рыцарь, на конѣ, въ черныхъ латахъ и шлемѣ, освободилъ Вейдалотеню и велѣлъ обвинять себя

съ нею на самомъ берегу рѣки; послѣ чего обнялъ ее, вскочилъ съ нею на коня, бросился въ воду и исчезъ въ глубинѣ. Вслѣдъ за нимъ бросили въ ту же пучину и мѣшокъ съ животными. Съ тѣхъ поръ вода въ томъ мѣстѣ начала кружиться и кипѣть и какъ бы донинѣ празднуетъ свадьбу несчастной пары. Покойница нерѣдко при свѣтѣ мѣсяца выходитъ, съ ребенкомъ на рукахъ, на берегъ и поетъ жалобныя пѣсни. Иногда рыбаки видятъ ее въ сопровожденіи чернаго рыцаря—и тогда слышатся: ворчаніе собаки, мяуканье кошки и шипѣніе змѣи. (*Нарбуттъ, ч. I, стр. 267*).

По преданіямъ, Вейдалотки пользовались большимъ уваженіемъ въ народѣ; въ званіе это избирались дѣвушки какъ по красотѣ своей, такъ и по знатности рода и жили всегда при капищѣ богини. Жертвоприношенія и вообще все то, что въ религіозномъ отношеніи прямо касалось женщинъ, а также поученія, прорицанія и молитвы, относящіяся до женскаго пола, лежали на обязанности Вейдалотокъ. Болѣе подробныхъ свѣдѣній о нихъ нѣтъ. Можно, однако же, заключить, что онѣ исполняли свои обязанности только въ молодости, до извѣстныхъ лѣтъ, а потомъ могли выходить и замужъ. Извѣстно, что старыхъ Вейдалотокъ не было. Тѣ же, которыя посвящали своей богинѣ дѣвство на всю жизнь, съ наступленіемъ старости удалялись въ разныя пустынные мѣста и дѣлались знахарками и гадалщицами—*Лаумами, Рагутенями* и т. п. (*Преданія и народныя пѣсни*).

Относительно одежды Вейдалотокъ также ничего неизвѣстно; но какъ онѣ были копіями римскихъ Весталокъ, то, вѣроятно, усвоили себѣ и ихъ одежду, т. е. тюнику и зеленый вѣнокъ (*Нарб., ч. I, стр. 266*).

Ежели на алтарѣ богини огонь случайно погасаль,—что, по религіозному убѣжденію, считалось предзнаменованіемъ большого бѣдствія, то огонь былъ добываемъ

изъ кремня, находившагося въ рукахъ *Перкуна*, — для чего жрецы подползали къ истукану его на колѣняхъ, и разведя добытый огонь, сжигали на немъ прежде всего ту, по винѣ которой огонь угасъ. Словомъ, поступали такъ и съ Вейдалотками, какъ и съ виновными въ томъ же Вейдалотами. (Lucas David. *т. I, стр. 29. Arnkiels, Cimbrische Altentumer, стр. 109*).

Знаменитая красавица *Бирута*, дочь жмудскаго баіораса (боярина) *Видымунта* — какъ свидѣтельствуешь „Лѣтописецъ великихъ князей литовскихъ“, изданный Даниловичемъ въ Вильнѣ, въ 1827 году, была также Вейдалоткою *Прауримы* въ Полунгѣ. Въ нее влюбился литовскій герой, знаменитый князь *Кейстутъ*, похитилъ ее, увезъ въ свой замокъ Троки и женился на ней въ 1348 году, когда она имѣла отъ роду 17 лѣтъ. Давъ обѣтъ чистоты, она долго не соглашалась на бракъ и нѣсколько разъ покушалась даже на самоубійство; но какъ ее до этого не допускали, то она поняла, что такова видно воля богини и примирилась съ своею участью. Въ этомъ бракѣ она имѣла сыновей: *Витовда* (*Витольда*, въ 1350 году), *Патрика*, *Товцивила* и *Сигайлу* (*Сигизмунда*) и дочь *Дануту*.

Послѣ удушенія мужа ея Кейстута, по повелѣнію племянника его *Ягайлы*, въ замкѣ Крево, въ 1382 году, она, въ царствованіе сына своего Витольда, возвратилась опять въ Полунгу, гдѣ и оставалась въ своей вѣрѣ до смерти, послѣдовавшей въ 1416 году.

Всѣ историки единогласно свидѣлствуютъ, что Бирута родилась около 1331 года, взята въ замужество въ 1348, родила Витольда въ 1350, овдовѣла въ 1382, умерла въ 1416 году. Была служительницею алтара *Прауримы* 18 лѣтъ.

Бирута отличалась прекрасными качествами души и большимъ умомъ, за что народъ обоготворилъ ее еще при жизни. Но замѣчательнѣе всего то, что жмудины

доньнѣ считаютъ ее святою, хотя она и не была христіанкою, и молятся на ея могилѣ.

Стрыйковскій говоритъ:

„Въ Полунгѣ, надъ самымъ моремъ, я видѣлъ высокую гору, урочище Вируты, называемое *свистосъ-Вирутосъ* (?). Тамъ жмудь и куроны совершаютъ до сихъ поръ праздникъ ея; туда прѣзжаетъ и католическій священникъ и дѣлаетъ большіе сборы изъ разныхъ пожертвованій и свѣчей, хотя я и не думаю, чтобы жертвы эти принималъ Богъ, потому что Вирута была поганка!“

Зачѣмъ же священникъ принимаетъ эти жертвы и, изъ корыстныхъ видовъ, дозволяетъ христіанамъ чтить эту „поганку“?

Нарбуттъ (*ч. I, стр. 88*), въ подтвержденіе этого, пишетъ: „Гора Вируты находится недалеко отъ м. По-лангена, на самомъ берегу моря, покрытая сосновымъ лѣсомъ и увѣнчанная высокимъ деревяннымъ крестомъ. На этой горѣ стояло капище *Прауримы* и находится могила *Вируты*. Народъ называетъ ее: *Рикитисъ Швѣстасъ Вирутасъ*“ (?), т. е. могила святой Вируты.

Не *свистосъ* и не *швѣстасъ*, какъ коверкаютъ это прилагательное Стрыйковскій и Нарбуттъ, по незнанію литовскаго языка, а *швентасъ Вирутасъ* нужно говорить правильно.

Жертвенникъ *Прауримы* и обряды, совершаемые въ честь ея, пережили, по причинѣ, изъясненной выше, все языческія капища и другіе остатки идолопоклонства. Ни Ягайло, ни Витольдъ, изъ уваженія къ княгинѣ Вирутѣ, не могли склонить ее къ принятію христіанства и потому она оставалась въ язычествѣ до смерти. (*Нарб. ibid.*)



## VII.

### Н І О Л А.

**Жена Поклуса, литовскаго бога ада.**

*Поклусъ*—подземный богъ, богъ ада, повелитель душъ умершихъ, мучитель душъ грѣшниковъ. Ему давали много разныхъ именъ: *Поклусъ*, *Покомосъ*, *Поколе*, *Шиколь*, *Шиколе*, *Прагартисъ*, отъ *прагарасъ-адъ*.

У всѣхъ народовъ, признававшихъ *Плутона*, сохранился мифъ о женитьбѣ его на дочери богини, похищенной и унесенной въ адъ. Египтяне, греки, финикіяне, римляне вѣрили въ тотъ же мифъ. Индійцы, у которыхъ *Плутонъ* называется *Маhadewa*, придаютъ ему жену, по имени *Khali*.

Литовскій *Плутонъ*, т. е. *Поклусъ*, былъ женатъ на *Ніолъ*, дочери богини плодовъ земныхъ *Крумины* (таже *Церера*). Вотъ какаѧ существуетъ объ этомъ легенда:

Царица страны, лежащей на берегу моря *Бѣлаго* (Балтійскаго), богиня *Крумина*, имѣла дочь *Ніолу*, съ которою жила въ замкѣ надъ рѣкою *Росъ* (Нѣманъ). *Ніола* была необыкновенною красавицею и мать берегла ее, какъ зеницу ока. Но не долго ея тѣшилась она:

*Поклусъ*, великій подземный богъ, воспылатъ къ ней пламенною любовью и поклялся овладѣть дѣвушкою. Долго онъ подстерегалъ ее безуспѣшно, такъ какъ она была охраняема бдительною стражею. Но вотъ въ одну весну *Нюла* захотѣла сдѣлать матери сюрпризъ изъ цвѣтовъ, которые росли на берегу Роси и были видны изъ оконъ замка. Съ этою цѣлью она незамѣтно выбѣжала изъ дому. Нарвавъ цвѣтовъ, она замѣтила великолѣпный цвѣтокъ, который колыхался на волнахъ, недалеко отъ берега и блисталъ всѣми цвѣтами радуги. Какъ рѣка въ томъ мѣстѣ была очень мелка, то *Нюла*, чтобъ достать цвѣтокъ, оставила обувь на травѣ и вошла въ воду; но *Поклусъ*, который и принялъ на себя видъ цвѣтка, едва она приблизилась къ нему, схватилъ ее и увлекъ съ собою въ преисподнюю. На берегу раздавались тщетные крики и плачь слугъ *Нюлы*, выбѣжала и сама *Крумина*, но кромѣ обуви въ зеленой травѣ никакихъ другихъ слѣдовъ пропавшей царевны не нашли. Царица, въ справедливомъ гнѣвѣ на служанокъ дочери, прокляла ихъ и превратила въ *Нендры* (камышы), которые и донынѣ растутъ на берегу, уныло покачиваются головами и ждутъ, не вынырнетъ-ли изъ воды ихъ прекрасная царевна?

Несчастливая мать поняла, что похищеніе дочери ея совершилъ кто нибудь изъ боговъ, повелителей земного или водяного царствъ, и пошла по цѣлому свѣту отыскивать ее. Много лѣтъ продолжалось путешествіе ея, но всѣ поиски были напрасны. Возвратилась она въ Литву съ тѣми же слезами, съ которыми вышла. Путешествіе ея, однако, не было безплоднымъ: она выучилась въ чужихъ странахъ искусству обработки полей и засѣва ихъ разнымъ хлѣбомъ, сѣмена котораго привезла съ собою въ изобиліи. Она начала учить бѣдный народъ, питавшійся только дикими произведеніями природы, земледѣлію. Случилось, что потребовалась выру-

бить подъ пашни одинъ дремучій лѣсъ, населенный когда-то чудовищами и страшилищами, называемыми *Стаубунами*, тамъ Крумина нашла огромный камень, на которомъ была надпись, изрытая предъ началомъ времени перстомъ самого Предвѣчнаго о будущей судьбѣ Нюлы, дочери ея. Едва прочитала она эту надпись, какъ воспылала страшнымъ гнѣвомъ и местию и спустилась въ подземное царство Цоклуса, *Прагарасъ*, адъ. Но тамъ гнѣвъ ея былъ обезоруженъ трогательною встрѣчею съ безсмертною своею дочерью, окруженною прекраснѣйшими дѣтьми, которыя, упавъ на колѣни, умоляли богиню помиловать ихъ родителей. Крумина не только умилостивилась, но и согласилась прогостить у дочери нѣсколько лѣтъ.

Когда же она возвратилась на землю, то царство ея представило ей еще болѣе трогательный видъ: бродяжество, тунеядство, грабежи, разбои исчезли; нужда, голодъ, нищета замѣнились довольствомъ, изобиліемъ; земледѣліе процвѣтало; хлѣбовъ были полные закрома; народъ боготворилъ свою царицу и учительницу самаго высшаго искусства.

Крашевскій воспроизвелъ эту легенду въ поэмѣ своей „Витолерауда“.

Нарбуттъ, на стр. 63, тома I, говоритъ, что легенду эту онъ открылъ лично въ Россіенскомъ уѣздѣ (Ковенск. губ.), въ окрестностяхъ м. Посвѣнты. Весь рассказъ очень поэтиченъ, прекрасно представляетъ народное творчество и нѣтъ повода ему не довѣрять.



*So*

## VIII.

# У П И Н А,

литовская богиня рѣкъ.

*Упа*—по литовски рѣка. *Упина*—богиня рѣкъ, рѣчекъ, ручьевъ и вообще текучей воды. Это побочное, какъ бы вспомогательное божество, созданное суетвѣриемъ народа.

Стрыйковскій, какъ вообще крайне поверхностно относящійся къ литовскимъ богамъ, эту богиню переименовываетъ въ боги и на стр. 145 говоритъ:

„*Упинисъ-Дивасъ*—богъ, имѣвшій въ своей опеку рѣки. Ему приносили въ жертву бѣлыхъ поросятъ, чтобы вода была чиста“.

Нарбуттъ (*ч. I, стр. 73*) пишетъ слѣдующее:

„Недалеко отъ Ковна, на лѣвомъ берегу Нѣмана, находится небольшое мѣстечко *Сантжмишки*. Дорогу, ведущую къ нему, перерѣзываетъ ручей, называвшійся прежде ручьемъ *Упины*, а нынѣ ручьемъ *Спасителя*. Лѣтомъ, въ каждый праздникъ, особенно же на *Ивана-Купалу*, тамъ бываетъ огромное стеченіе народа; каждый при ручьѣ молится, умываетъ себѣ голову и лицо и пораженные болѣзнію части тѣла. Этотъ ручей—литовская *силоамская купель*. Послѣ омовенія, больной ор-



ганъ вытирается чистымъ кускомъ бѣлаго холста, который и оставляется или висящимъ на куствѣ, или прямо разостланнымъ на травѣ. Тряпья этого никто не трогаетъ, изъ опасенія, чтобы болѣзнь, оставшаяся на тряпкѣ, не перешла къ нему. Оттого на берегахъ ручья гнѣтъ такая масса холста, что въ иномъ мѣстѣ можно было бы обогатить имъ бумажную фабрику“.

Этѣ писалъ Нарбуттъ въ 1835 году. Любопытно было бы знать, соблюдается ли этотъ обычай въ наше время и много ли бумажныхъ фабрики оставляютъ теперь этого тряпья на берегахъ ручья *Утны*?

„Надъ ручьемъ—продолжаетъ Нарбуттъ—съ правой стороны дороги, находится деревянная часовенька, съ расцятіемъ, построенная на небольшомъ холмѣ, на которомъ, по преданіямъ, стоялъ когда-то жертвенникъ богини *Утны*, покровительницы пѣлебнаго ручья. Старожилы помнятъ, что даже во второй половинѣ прошлаго столѣтія существовало какое-то женское братство, исполнявшее обряды богини *Утны*. Настоятель тамошняго костела ксендзь Янковскій, въ 1813 году, рассказывалъ мнѣ подробности того, что самъ онъ видѣлъ лѣтъ 40 тому назадъ. Пока братство это не было запрещено, къ ручью изъ окрестныхъ деревень собиралось нѣсколько женщинъ, повидимому корчившихъ изъ себя чародѣекъ, подъ предводительствомъ неизвѣстной старухи, которая появлялась разъ въ годъ въ „праздникъ Росы“ (нынѣ ап. Петра и Павла), какъ бы посланная сверхъестественною силою (?). Говорили, будто она пріѣзжала на летающемъ козлѣ (?). Эти колдуньи разводили огни, пѣли какія-то пѣсни, плескались въ ручьѣ, пекли какія-то лепешки и раздавали народу, который за то приносилъ имъ рыбу, раковъ, птицъ водяныхъ, лѣсныхъ и домашнихъ, поросятъ и серебряныя деньги. Съ наступленіемъ утра этотъ „шабашъ вѣдьмъ“ прекращался, баба исчезала безслѣдно и все

приходило въ обычный порядокъ. Этимъ обрядомъ ручей считался освященнымъ бабою, называемою *Униною*, и приобрѣталъ цѣлебную силу на весь годъ.

„Суевѣрный обрядъ этотъ былъ уничтоженъ старостою Забѣлло и въ 1783 году, на холмѣ богини *Унины*, сооружена часовня во имя Спасителя, о которой сказано выше. Съ тѣхъ поръ ксендзъ ежегодно, въ кавунъ Иоганна Крестителя, прѣзжаетъ святить ручей, который до нынѣ не утратилъ своей цѣлебной силы (?). Замѣчательно, однако же, то, что цѣлебность воды ограничивается только предѣлами часовни и нѣсколько ниже ея; выше же, т. е. по ту сторону дороги и ниже, при впаденіи ручья въ *Нѣмань*, никакой врачебной силы въ ручьѣ не обрѣтается (!!), хотя и весь ручей состоитъ изъ чистой ключевой, обыкновенной воды, не содержащей въ себѣ никакихъ постороннихъ примѣсей“.

Очевидно, здѣсь духовенство фанатизируетъ и эксплуатируетъ народъ, обративъ суевѣріе его въ оброчную для себя статью.

Впрочемъ, рассказъ этотъ оставляемъ на отвѣтственности Нарбутта.



## IX.

# ГУЛЬБИ,

Геній—покровитель человѣка.

*Гульби*—нѣчто въ родѣ ангела-хранителя. Гульби были боги и богини (*Дъвасъ* и *Дъвэ*); первые для мужчинъ, вторыя для женщинъ; слѣдовательно, боговъ этихъ было на свѣтѣ столько же, сколько и людей. Между простымъ народомъ, даже въ вѣкахъ христіанства, сохранилась вѣра, что у женщинъ ангель-хранитель есть женскаго рода.

Древне-латышскій народъ называлъ ихъ *Люлькисъ* и они были у него такъ же популярны, какъ и въ Литвѣ. (*Штендеръ*. „*Lett. Gramm.*“).

Стрыйковскій (ч. I, стр. 146) говоритъ:

„*Gulbi Dziejow* (?), богъ, который хранитъ каждаго человѣка отдѣльно, по нашему *prorium Genium*, ангель-хранитель; ему приносили въ жертву—мужчины бѣлыхъ каплуновъ, а женщины—пулярокъ“.

*Гульбисъ*, на старо-жмудскомъ языкѣ, значитъ хвалебный; а *гульбинтасъ*—похвальный.

Каждая звѣзда изображала собою Гульби одного изъ людей. Если человѣкъ умиралъ, то звѣзда его падала съ неба и гасла. (*Нарбуттъ*, ч. I, стр. 103).

„Въ древности—говорить тотъ-же Нарбуттъ—чрезвычайно вѣрили въ геніевъ, которые были извѣстны подъ названіемъ *Genii*, *Demonii*. О нихъ очень много преданій. Самъ Сократъ сознавался, что онъ имѣлъ близкаго себѣ демона“.

Съ самаго рожденія человѣка, его окружали два генія: добра и зла, и потомъ, смотря по характеру его, одинъ изъ нихъ оставался при немъ на всю жизнь.

Крашевскій, въ поэмѣ своей „Витольдовы битвы“, изображаетъ Гульби Витольда, великаго князя литовскаго (сына Кейстута и Вируты), въ двухъ прекрасныхъ поэтическихъ образахъ. Привожу ихъ здѣсь въ моемъ переводѣ—не какъ авторитетъ Крашевскаго, а ради прелести поэтическаго вымысла, дающаго понятіе о вѣрованіи народа въ созданный его суевѣріемъ культъ *Гульби*.

Вотъ первая картина:

Витольдъ, послѣ женитьбы на дочери Смоленскаго князя Аннѣ Святославовнѣ, предался нѣгѣ и совсѣмъ отказался отъ участія, съ отцемъ своимъ Кейстутомъ, въ битвахъ противъ враговъ, разрывавшихъ край со всѣхъ сторонъ.

Однажды ночью, когда Анна уже спала, Витольдъ, облокотясь на руку, въ полудремотѣ, молча смотрѣлъ на огонь, пылавшій въ комнатѣ и куда-то далеко уносился мыслями. Вдругъ, неизвѣстно откуда взялся приземистый, сухой старичокъ, съ длинною, сѣдою бородою и, не поклонясь домашнимъ богамъ (*Коболямъ*), сѣлъ у огня, и какъ бы у себя дома, началъ поправлять огонь

и обогрывать исхудалые, окоченѣвшіе свои члены. Витольдъ сорвался съ ложа.

— Кто ты? воскликнулъ онъ въ гнѣвѣ.

— Издалека! отвѣтилъ старецъ спокойно.

— Но какъ ты смѣлъ войти сюда? Ты вѣрно не знаешь, что эта комната моя, комната князя, порогъ которой не смѣетъ переступить ни одна нога мужская, кромѣ моей?

Старикъ печально потрясъ головою и, продолжая грѣть передъ огнемъ руки, отвѣчалъ:

— О, знаю я, знаю гдѣ нахожусь! Ты Витольдъ, сынъ героя Кейстута, а это твоя жена Анна, дочь князя Смоленскаго. Эта комната твоей жены, комната, окруженная таинственнымъ полусвѣтомъ; комната нѣгъ и наслажденій, праздности и лѣни; комната, въ которой роскоши и пирамъ принесены въ жертву молодость и слава; въ которой погребены величіе и безсмертное имя.

— Но кто же ты, злой старикъ? Какъ смѣешь ты прерывать мой сонъ и терзать мою душу, словно ястребъ птицъ беззащитныхъ? Клянусь богами—со мною справиться тебѣ не легко: нападай на тѣхъ птицъ, которыя тебѣ по силамъ.

— Ба! Кто же не знаетъ Витольда? возразилъ старикъ, вытягивая предъ огнемъ свои посинѣвшія руки и пронизывая острымъ взглядомъ Витольда. Да, былъ Витольдъ орленкомъ; но былъ имъ въ молодости; любилъ, какъ орелъ, свободу и пылъ битвъ, любилъ свой народъ и свою славу; но теперь орелъ уже не орелъ: женщина подрѣзала ему крылья; онъ прозябаетъ въ гнусномъ бездѣйствіи предъ домашнимъ очагомъ, слушаетъ сладкія пѣсни, играетъ прялкою, крѣпко держится за женскую юбку и ничего ему больше не нужно.

— Послушай! крикнулъ въ неистовствѣ Витольдъ. Говори, кто ты—или мой мечь....

— Твой мечь?... О, юноша! Никто со мною не вступалъ еще въ бой. Да и до боя-ли тебѣ? Тебѣ пиры, да пѣсни!... Я...

Онъ всталъ, вытянулся и достигъ головою потолка.

— Я твой *Гульби*. Прихожу къ тебѣ по волѣ боговъ, чтобъ упрекнуть тебя за позорную твою праздность. Витольдъ, Витольдъ! Бездѣйствіе твое гнусно! Если охотничья собака долго не травила звѣря, она не годится уже для ловитвы; а ты... и ты забудешь о битвахъ! Взгляни на ту звѣзду, которая изъ-за тучи такъ ярко сіяетъ надъ твоею головою. Это звѣзда Витольда. Хочешь ли, чтобы она погасла въ женской свѣтлицѣ? Хочешь-ли блескъ ея притмить пламенемъ женскихъ объятій?... Нѣтъ, Витольдъ, не тебѣ почивать на мягкомъ ложѣ и нѣжиться при домашнемъ очагѣ! Не для тѣхъ слава, которые коснѣютъ, какъ мутная, стоячая вода въ долинѣ, позволяющая заволокать себя водорослями и плѣсенью и не могущая вырваться на свободу, чтобъ разрушить всѣ преграды и напоить жаждущую ниву. Не для того, Витольдъ, родился ты на свѣтъ, не для того славный отецъ вынянчилъ тебя на боевыхъ рукахъ своихъ, чтобъ ты покорно ползалъ у ногъ женщины и упивался ея поцѣлуями!!

Гульби исчезъ.

Лицо Витольда пылало. Онъ искалъ рукою вокругъ себя меча, но подъ руку попадалась только мягкая, нѣжная женская одежда. Не приманила его сонная, прелестная улыбка красавицы-жены. Онъ не возвратился на супружеское ложе, но вышелъ на дворъ замка, велѣлъ готовить дружинѣ, сѣдлатъ коней—и когда засіяла заря, онъ съ отцемъ уже мчался къ владѣніямъ Тевтона.

Другая картина относится къ дѣтству Витольда.

У Витольда колыбели,  
Услаждая дѣтскій слухъ,  
Два крылатыхъ духа пѣли.  
Въ изголовьи черный духъ,  
Наклонясь надъ колыбелью,  
То рычать гѣны злѣй,  
То залетѣть мелкой трелью,  
То шипить, какъ лютой змѣй.  
Взоръ, исполненный измѣной,  
Безпощаденъ, злобенъ, дикъ,  
И покрытый бѣлой пѣной,  
Красный высунуть языкъ.  
Бѣлый духъ глядитъ съ тоскою,  
На колѣняхъ и въ слезахъ,  
Какъ младенческой душою  
Овладѣть стремится врагъ.

Спитъ дитя; сквозь сонъ внимаешь  
Дивнымъ пѣснямъ двухъ духовъ:  
Сердце юное пылаетъ,  
На щекахъ играетъ кровь.  
Черный, осѣнивъ крылами,  
Съ нѣгой, дѣтское чело,  
Обольщаетъ умъ мечтами  
Духу бѣлому на зло:

„Ты будешь великимъ, какъ предки твои,  
Любимцы боговъ Святорога \*);

\*) „Долина Святорога“, литовскій Олимпъ, нынѣшняя Кафедральная площадь, съ лѣвымъ берегомъ р. Вилія (у литовцевъ р. Нарисъ).

Ты міръ побѣдишь и народы земли  
Признають въ тебѣ полубога.  
Напрасно ляхъ хитрый крестомъ золотымъ  
Тебя обольщать покусится:  
Останешься вѣренъ богамъ ты своимъ  
И мечъ твой на крестъ ополчится.  
Кровавый задашь ты врагамъ своимъ пиръ;  
Чело твое славой заблещетъ;  
Меча твоего испугается міръ  
И славѣ героя воспещетъ!  
„Ты будешь великимъ, какъ предки твои,  
Герои изъ камня и стали,  
Что хладно смотрѣли на крови ручьи  
И трупы ногой попирали;  
Что Русь и закованный въ латы Тевтонъ,  
Давили желѣзной пятою;  
Что грозному Ляху писали законъ  
И кровь его лили рѣкою.  
Кровь дѣдовъ въ тебѣ неизмѣнна, чиста:  
Всѣ въ вѣрѣ отцевъ умирали;  
Нещадными были врагами креста  
И край отъ него охраняли.  
Великаго царства ты будешь творцемъ,  
Сосѣдямъ могуществомъ страшенъ,  
Изъ тѣлъ и костей ты вѣнцемъ,  
Какъ лаврами будешь украшенъ“.

Спитъ дитя; сквозь сонъ внимаешь  
Злаго духа пѣснѣ злой;  
Къ духу руки простираешь  
И душою рвется въ бой.



Въ мысляхъ губить вражій станъ  
И страдалица святая,  
Съ кровью бьющею изъ ранъ,  
Ожила Литва родная!

Бѣлый духъ поетъ съ тоской;  
Онъ вздыхаетъ, плачетъ, стонетъ;  
Сознаетъ, что пѣсню той  
Сердца дѣтекаго не тронетъ:  
Звуки трубъ и звонъ мечей  
Разжигаютъ жаръ въ крови;  
Чуждо ангельскихъ рѣчей,  
Пѣсней мира и любви.

„Ты будешь великимъ; сіяньемъ креста  
Великій твой край озарится;  
Разрушить куміры и свѣтомъ Христа  
Съ тобой твой народъ просвѣтится.  
Ты будешь великимъ не дѣдовъ твоихъ  
Облитою кровью державой.

А рядомъ дѣяній великихъ святыхъ,  
Христовой всемірною славой.

„Ты будешь великимъ и сердцемъ своимъ  
Поклонишься вѣчному Богу;  
Не склонишься духомъ къ внушеніямъ злымъ  
И къ небу познаешь дорогу.

Ты будешь великимъ: твоею рукой  
Насадятся миръ и свобода;  
Въ Литвѣ перестанетъ кровь литься рѣкой,  
Ты будешь спасеньемъ народа.

„Ты будешь великимъ, прощая врагамъ,  
Любя свой народъ непритворно;

Оплотомъ ты будешь христовымъ церквамъ,  
Кресту покланяясь покорно.

Огни на языческихъ всѣхъ алтаряхъ  
Потушишь въ лѣсахъ Святорога;  
Награда за то тебя ждетъ въ небесахъ  
Предъ ликомъ правдиваго Бога!“

Спитъ дитя спокойно дышетъ;  
Пѣсни ангела не слышитъ,  
Но къ той пѣснѣ клонитъ слухъ,  
Что поетъ ему злой духъ;  
Ангель плачетъ, ангель стонетъ:  
Сердца дѣтскаго не тронетъ  
Звукъ его святыхъ молитвъ:  
Оно жаждетъ слезъ и битвъ!  
Торжествуетъ сила злая,  
Душу юную прельщая,  
И хохочетъ злобно бѣсъ  
Надъ посланникомъ небесъ!

—♦♦♦♦—

## Х.

# ЛИТОВСКО-ЯЗЫЧЕСКІЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ.

Вопросъ о погребеніи человѣка современенъ ему самому. Природа земли украшаетъ лицо свое царствами животнымъ и растительнымъ, которыя и обращаетъ потомъ въ собственный тукъ, въ матеріалъ для собственнаго удобренія. Она позволяетъ созданію своему цвѣсти и красоваться, осыпаетъ его всѣми дарами своими, но потомъ, за краткій срокъ существованія его, обрываетъ всѣ свои дары и самого его, эта злобная ростовница захватываетъ въ видѣ процента. Образцомъ своихъ дѣйствій природа представила намъ дерево: дерево, красующееся листвою, роняетъ, въ предназначенный ему срокъ, устарѣвшую листву, для утученія ея почвы вокругъ себя и возобновленія листвы съ новымъ пробужденіемъ природы. Точно также и устарѣвшія украшенія лица земли обращаются въ тукъ ея, для возрожденія новыхъ поколѣній обоихъ царствъ, новыхъ украшеній лица земного. Перегнившій прахъ царства животного возрождаетъ силу царства растительнаго, которое, служа пищею

царству животнаго, способствуетъ, въ свою очередь, его жизни и происхожденію новаго поколѣнія. Такимъ образомъ, смерть есть только перерожденіе, круговоротъ жизни, обновленіе естества!

Жизнь не умираетъ никогда.

Истина старая и всеѣмъ извѣстная. Тѣмъ не менѣе, однако же, человѣкъ, какъ совершеннѣйшій типъ изъ царства животнаго, не хочетъ, въ самообольщеніи своемъ, быть, наравнѣ съ прочими животными, простымъ тукомъ земли, и потому упорно, хотя и тщетно, придумываетъ все средства обойти этотъ законъ природы. Люди сжигали тѣла свои, превращали въ окаменѣлости бальзамированіемъ, замуровывали въ стѣны катакомбъ и пирамидъ, но дани изъ себя природѣ-земли, для удобренія ея, отмѣнить до нынѣ не успѣли: земля всегда получала свою дань въ дымѣ, испареніяхъ, газахъ погребяемаго тѣла, да и самое тѣло не уходило отъ нея, хотя бы пролежало тысячелѣтія въ урнѣ или въ формѣ муміи: не улетитъ же оно никуда съ земного шара!

Оттого все народы пришли наконецъ къ убѣжденію, что самое правильное погребеніе есть преданіе тѣла землѣ, отъ которой оно взято и въ которую должно возвратиться по непремѣнному закону природы.

Шютцъ, Гарткнохъ, Геннебергеръ и даже Дусбургъ клеветали на литвиновъ, доказывая, будто у нихъ существовалъ варварскій обычай ускорять смерть трудно больныхъ, увѣчныхъ, калѣкъ и долго мучившихся въ предсмертной агоніи. Практиковалось это отчасти только между Герулами и то не по обычаямъ времени или указаніямъ религіи, но по личному требованію нѣкоторыхъ, измученныхъ долговременными болѣзнями и суевѣрныхъ старцевъ.

Извѣстно, что верховные жрецы, *Креве-Кревейты*, достигнувъ глубокой старости, добровольно и всенародно

сжигали себя на кострѣ, чѣмъ приносили себя за народъ въ жертву богамъ. На основаніи этого и всякое самоубійство не считалось въ Литвѣ предосудительнымъ.

Аванасьевъ, въ статьѣ „*Примѣръ вліянія языка на образованіе народныхъ вѣрованій и обрядовъ*“ („Древности“ т. I, вып. I, Москва, 1865 г.), также ничего не говоритъ о добиваніи умирающихъ, но свидѣтельствуешь, что если человекъ трудно кончается, то „чтобы душа скорѣе *разсталась* съ тѣломъ, дѣлають отверстіе въ потолокъ и въ кровль избы или отворяють окно. Обычай этотъ извѣстенъ въ Германіи и Россіи. Какъ продолжительная агонія отходящаго въ иной міръ, такъ и трудные роды родильницы заставляютъ германскихъ простолюдиновъ отворять дверь, отпирать окно и приподнимать нѣсколько черепиць или дралицу (D. Myth. стр. 801, 1133; *Иллюстр. годъ I, стр. 415, Черты изъ исторіи и жизни Лит. Нар., стр. 112*). Душа представлялась связанною съ тѣломъ до той поры, пока не являлась смерть и не разрѣзывала соединяющей ихъ нити, выпряденной Паркою (по-литовски *Вертя* или *Вермантея*). Во многихъ деревняхъ, по выносѣ покойника, *запирають ворота*, чтобы вслѣдъ за умершимъ хозяиномъ *не сошли со двора* его родные и животныя. Желаніе скрыть отъ смерти дорогу въ людское жилище вызвало обычай выносить трупъ усопшаго не въ тѣ двери, которыми ходять живые, а въ какое нибудь нарочно сдѣланное отверстіе, которое потомъ снова закрывалось. Такъ, германцы, въ языческую эпоху, разбирали для того стѣну и выносили мертвеца головою впередъ, либо прокапывая отверстіе подъ стѣною и даже подъ порогомъ. Нынѣ обычай этотъ соблюдается только въ отношеніи злодѣевъ и самоубійць“.

Но Карль Шайноха, авторъ „*Ядвиги и Ягайло*“ (перев. Кеневича, СПб. 1880), отличный знатокъ Литвы, ея исторіи и обычаевъ, не скрываетъ жестокихъ обык-

новеній языческой Литвы и говоритъ въ ч. II, стр. 244:

„Въ духѣ равнодушія къ жизни, случалось, что родители топили младенцевъ женскаго пола. Та же судьба ожидала калѣкъ и болѣзненныхъ дѣтей, какъ лишнее для общества бремя, которое и въ здоровомъ состояніи не могло побороть трудностей жизни. Затѣмъ шла очередь стариковъ и больныхъ матерей, которымъ сыновья укорачивали жизнь, такъ какъ „человѣческая нищета непріятна богамъ“, а дни безсильной старости увеличиваютъ всеобщую нищету. Одержимыхъ продолжительными болѣзнями, не поддающимися лѣченію жрецовъ, послѣ ворожбы послѣднихъ на священномъ огнѣ, душили или сжигали на кострахъ“ (Aen. Sylv. Opp. 418 и Voigt. Gesch. I, стр. 564).

Нарбуттъ, Юцевичъ („Литва“, стр. 285) и К. Войццкій („Измѣдов. Слав. Древностей“), основываясь на Стрыйковскомъ (стр. 143), единогласно описываютъ послѣднее пребываніе человѣка на землѣ.

Каждый литовецъ и жмудинь, какъ только чувствовалъ приближеніе смерти, старался, по мѣрѣ своихъ средствъ, пріобрѣсти одну или двѣ бочки пива и потомъ собиралъ всѣхъ своихъ родныхъ, друзей и знакомыхъ на прощальный пирь. Когда приглашенные собирались, умирающій прощался съ ними и просилъ у всѣхъ прощенія. Пирь продолжался до самой смерти пригласившаго.

Къ этому Юцевичъ, на стр. 293, прибавляетъ: „нынѣшніе погребальные обряды очень сходны съ древними. Какъ только замѣтятъ, что больной умираетъ, тотчасъ выносятъ изъ избы всѣ сѣмена, въ томъ убѣжденіи, что онѣ не взойдутъ. Если же агонія очень продолжительна и больной сильно мучится, то изъ-подъ головы его вытаскиваютъ подушку, а нерѣдко дѣлаютъ надъ постелью его отверстіе въ потолокъ и крышѣ, дабы душа свобод-

нѣе могла улетѣть на небо. Теперь умирающему даютъ въ руки зажженную свѣчу—православнымъ страстную, а католикамъ — срѣтенскую (*грошницю*), а по кончинѣ покойнику немедленно закрываютъ глаза, „дабы онъ не манилъ другихъ на тотъ свѣтъ“.

Но станемъ продолжать прерванное сказаніе: Какъ только наступила смерть, покойника тотчасъ уносили въ баню, гдѣ чисто его обмывали, потомъ приносили въ избу, надѣвали на него длинную бѣлую рубаху и садили въ кресло съ ручками или въ углу избы. Тогда каждый изъ гостей подходилъ къ нему съ кружкою пива и приговаривалъ: „пью къ тебѣ, любезный другъ! И зачѣмъ тебѣ было умирать? Развѣ у тебя нѣтъ жены, дѣтокъ, всякаго добра“... и т. д. Послѣ этого къ нему пили вторично на „прощанье“ и просили, чтобы онъ на томъ свѣтѣ кланялся ихъ родителямъ, братьямъ, сестрамъ, родственникамъ и друзьямъ. Послѣ этого начинались плачь и траурныя пѣсни (*Рауды*).

Янъ Малецкій (*Maelecius*), онѣмеченный польскій протестантъ изъ м. Лыкъ въ Пруссіи, написавшій разсужденіе о язычникахъ, жившихъ еще въ Европѣ: „*Libellus de sacrificiis et idolatria veterum Borussiae, Livonum aliarumque vicinarum gentium*“, легкомысленно смѣшиваетъ литовскій языкъ съ бѣлорусскимъ и на „*lingua Ruthenica*“ приводитъ слѣдующее „*funebri lamentatio*“, увѣряя, что оно русское:

„*Га, леле и прочъ ти мене умарлз? И за ти не мэлъ што псти, альбо пшти? И прочъ ти умарлз?... Га, леле, и за ти не мэлъ красное млодзице? И прочъ ти умарлз?*“

(*Мържинскій, Кіевскій рефератъ, страница 183*).

Иностранные писатели, повторившіе этотъ сумбуръ, хорошее же приобрѣли понятіе о русскомъ языкѣ! Вотъ они „историческіе источники“!

Крашевскій эту „Рауду“ передалъ прекраснымъ звучнымъ стихомъ въ поэмѣ своей „Витолерауда“. Прилагаю ее въ переводѣ:

Зачѣмъ ты насъ бросилъ, чего не хватало  
Тебѣ здѣсь, усопшій нашъ братъ?  
Иль въ домѣ печально? Иль радостей мало?  
Иль нашей любви ты не радъ?

Иль мало осталось дикаго звѣря  
Въ литовскихъ дремучихъ лѣсахъ?  
Иль встрѣтилась въ жизни потеря?  
Иль лукъ сокрушился въ бояхъ?

Иль мало тебя мы здѣсь, братъ, уважали?  
Иль братьевъ не миль былъ привѣтъ?  
Жена ли и дѣти любить перестали,  
Покинуть заставили свѣтъ?

Зачѣмъ же оставилъ ты здѣсь сиротами  
Жену и дѣтей и родимую мать?  
Зачѣмъ мы должны обливаться слезами,  
И больше ужъ въ жизни тебя не встрѣчать?

Для погребенія одѣвали покойника, если онъ принадлежалъ къ высшему сословію, въ лучшія его одежды, опоясывали мечемъ и, какъ подробно описано въ „Загробной жизни, по литовско-языческимъ представленіямъ“, приготавливали къ торжественному сожженію по тогдашнимъ обрядамъ, вмѣстѣ съ любимыми рабами, а иногда и съ плѣнниками, а также съ конемъ, псами, соколами и проч. Простыхъ людей хоронили съ орудіями ихъ промысла, такъ какъ вѣрили, что и за гробомъ человѣкъ будетъ принадлежать къ тому же сословію, къ какому принадлежалъ при жизни. Кромѣ того, мужчинамъ затыкали за поясъ топоръ и вокругъ шеи обматывали полотенце, въ которое завязывали по мѣрѣ



возможности нѣсколько монеть. Женщинамъ давали въ гробъ иглу съ нитками, дабы покойница могла починить свою одежду. Молодыхъ парней хоронили съ кнутомъ за поясомъ, дѣвушекъ съ вѣнкомъ на головѣ, а дѣтей осыпали полевыми цвѣтами. (*Стрыйск.*, стр. 143, *Юцев.*, стр. 295).

Пруссаки и жмудины вмѣстѣ съ покойникомъ погребали деньги, хлѣбъ и кувшинъ меду или пива, дабы душа не чувствовала ни голода, ни жажды. По замѣчанію Войцickaго, въ Красной Руси, въ настоящее время, вмѣсто погребенія хлѣба съ покойникомъ кладутъ на гробъ два корова я хлѣба, которые потомъ забираетъ священникъ. Для поминовенія же души (на паннихиду) жертвуютъ въ церковь миску, ложку и рюмку; если по мужчинѣ, то прибавляютъ еще сорочку, а если по женщинѣ, то „примитку“ (кусокъ холста).

Но отъ смерти до погребенія еще далеко, особенно, если покойный былъ князь или знатный *байорасъ* (боярынъ).

Мѣржинскій, въ неизданномъ манускриптѣ своемъ, разбирая нѣкоторыхъ писателей о литовской мифологіи, приводитъ чрезвычайно важныя выписки изъ *Вульф-стана*, путешественника, жившаго во второй половинѣ IX-го вѣка. Онъ всѣхъ литовцевъ называетъ *эстами*. По замѣчанію Мѣржинскаго, *эстами* назывались вообще народы, обитавшіе на сѣверѣ и востокѣ отъ народовъ, занимавшихъ лѣвый берегъ Вислы, — очевидно, славянскіе или вѣрнѣе польскіе; на правомъ же берегу были земли пруссовъ, по Тациту — литовской рассы, а по Вульфстану — эсты.

Вульфстанъ говоритъ:

„Есть у эстовъ обычай, что ежели умретъ мужчина, то лежитъ въ кругу родныхъ и друзей цѣлый мѣсяцъ

не сожженнымъ, а иногда и два; короли же и иные вышшаго званія люди лежатъ тѣмъ долѣе, чѣмъ больше имѣютъ богатствъ; иногда лежатъ не сожженными до полугода и лежатъ на поверхности земли, въ своихъ домахъ, и въ продолженіе всего того времени, въ которое лежитъ тѣло внутри дома, обязаны пить и веселиться, покуда тѣло не сожгутъ. Въ тотъ же день, въ который намѣреваются возложить тѣло на костеръ, дѣлятъ его имѣніе, оставшееся еще послѣ попоекъ и веселья, на пять, на шесть, а иногда и на большее число частей, смотря по величинѣ имѣнія. Затѣмъ, самую большую часть складываютъ въ одной милѣ отъ мѣста пребыванія покойника, другую ближе, потомъ третью, пока не разложатъ все на протяженіи одной мили, а самую меньшую часть ближе къ мѣсту погребенія. Потомъ собираются всѣ тѣ, которые имѣютъ самыхъ быстрыхъ лошадей, за пять и за шесть миль изъ окрестности, и тогда начинаютъ всѣ скакать въ перегонку къ самой отдаленной части раздѣла. Тотъ, чей конь быстрее прочихъ и прибываетъ къ части первый и наибольшей, овладѣваетъ ею; прочимъ, по мѣрѣ отсталости, присуждаются и остальные части. Каждый съ захваченною частью возвращается домой и оставляетъ ее у себя. По этой причинѣ у нихъ быстрые кони чрезвычайно цѣнились.

Эстамъ извѣстно было искусство замораживанья мертвыхъ тѣлъ и потому покойники ихъ могли такъ долго сохраняться, не разлагаясь. А ежели поставятъ два сосуда, наполненные взваромъ или водою, то они умѣли дѣлать, что холодъ замораживалъ ихъ не только зимою, но и лѣтомъ“.

Мѣржинскій свидѣтельствуется, что Преторіусъ, жившій 800 лѣтъ позднѣе, во времена котораго Вульфстана еще не знали, говоритъ тоже самое о умѣніи замораживать тѣла умершихъ.

Шайноха, во II части „*Ядвиги Ягайло*“, стр. 241, удостоверяетъ, что „самыми торжественными пирами бывали поминки по умершихъ, называемые *Хаутуреи* или *Днды* (?). Поминки эти тяжело ложились на жителей. Вообще, поклоненіе мертвымъ поглощало значительную часть расходовъ въ жизни литовскаго язычества. Смерть всякаго человѣка бросала, если можно такъ выразиться, за собою громадную тѣнь похоронныхъ обрядовъ. На 3-й, 6, 9 и 40 день послѣ сожженія или погребенія тѣла возобновлялись похоронные обѣды, для насыщенія толпы. Между тѣмъ, языческая Литва была страной нищеты. Среди князей поражала внѣшность богатства и роскоши; народъ же былъ нищимъ“.

Все это справедливо. Но Шайноха, подъ вліяніемъ Нарбутта, смѣшиваетъ *Хаутуреи* съ *Дндами*“: первыми назывались собственно погребенія и сопряженные съ ними погребальныя пиры, а послѣдніе, *Поминки*, совершались разъ въ годъ, во время праздниковъ *Ильги* (долгихъ).

До послѣдней минуты погребенія надъ покойникомъ должна постоянно плакать и причитать, высчитывая всѣ его добродѣтели и заслуги, какаянибудь родственница, а въ отсутствіе ея—наемныя плакальщицы. Послѣднія назывались *Раудетоясз* (*рауда*-плачь); слезы ихъ собирались въ особые сосуды и ставились въ могилѣ, въ ногахъ умершаго, или погребались вмѣстѣ съ урнами, ежели тѣло было сожжено. (*Гарткнохъ*, 183).

Какъ образчикъ этихъ *раудз* и причитаній (исключительно женщинами, потому что мужчины причитать не умѣли) приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ. Вотъ, напри- мѣръ, *рауда* сироты надъ гробомъ матери (*по Нарбутту*).

Кто мои ножки прикроетъ,  
Кто мою косу расчешетъ,  
Кто мои губки умоетъ,  
Кто меня лаской утѣшитъ?

Э. Вольтеръ, въ статьѣ „Образцы литовскихъ говоровъ“, приложенной къ „Катехизису Даукши“, приводитъ нѣсколько подобныхъ причитаній.

По Нарбутту и Юцевичу былъ также обычай въ раудахъ воспѣвать хвалу почившему въ особыхъ пѣсняхъ, называемыхъ *Гильминю-Раудасъ*. Въ сборникѣ „Литовскихъ Пѣсенъ“ Юцевича (Вильна, 1844) помѣщено тринадцать родовъ этихъ пѣсенъ.

Тотъ же Юцевичъ, на стр. 294, приводитъ слѣдующую *рауду* жены надъ мужемъ:

„Куда ты дѣвался мой голубъ бѣлый?  
Въ какія стороны улетѣлъ?  
Ты для меня былъ лучше всѣхъ:  
Ты меня нѣжилъ, ты лелѣялъ.  
Теперь тебя нѣту!  
Куда я дѣнусь, къ кому я прижмуся?  
Прижалась бы къ углу-уголь твердь;  
Прижалась бы къ дереву-дерево гнется;  
Прижалась бы къ камню-камень холодень!  
Нѣтъ тебя, зеленое божіе деревцо!  
Нѣтъ тебя, молодой дубокъ,  
Краса нашего села!“ и т. д.

Похоронные жрецы *Тилусоны* и *Лингусоны* занимались какъ сожженіемъ, такъ и погребеніемъ умершихъ. Въ утѣшеніе родныхъ, они также распѣвали *рауды* въ родѣ слѣдующей:

Не плачьте по немъ, *тамъ* счастливѣе онъ:

Тамъ родные его возлелѣютъ;

Ни русскій, ни лейсышъ, ни грозный тевтонъ

Его обижать тамъ не смѣютъ.

Слово *Лейсмиш*, по Стрыйковскому *Ленкишиз*, не вполне истолковано польскими историками. Стрыйковский, Нарбуттъ и подражатель его Крашевскій (въ „Витолераудѣ“) переводятъ это словомъ *ляжъ, поляжъ*: но Юцевичъ (стр. 288) доказываетъ, что *Лейсмиши* назывались жители города Риги и ея окрестностей, подвластные меченосцамъ и нападавшіе вмѣстѣ съ послѣдними на Литву. Толкованію Юцевича (Людвика изъ Покевья) должно больше дать вѣры, потому что онъ отлично зналъ литовскій языкъ и выросъ среди народа. Онъ даже приводитъ жмудскую пословицу: „*абгаудинны кайтз Лейсмиш*“ — надуваешь, какъ рижанинъ.

Стрыйковскій, а за нимъ Войцицкій, какъ сказано выше, говорятъ, что когда везли покойника на кладбище или къ мѣсту сожженія, друзья и вообще молодежь скакали вокругъ тѣла верхомъ и, размахивая саблями и ножами и производя ими звонъ, кричали: „*Гейгейте, бѣгайте Пиколе!*“ что, будто бы, значитъ: „уходите, убѣгайте дьяволы“ (отъ этого тѣла). Но тотъ же Юцевичъ (та же стр.) опровергаетъ эту форму, какъ не литовскую и происшедшую оттого, что Стрыйковскій совсѣмъ не зналъ литовскаго языка, въ чемъ самъ сознавался въ собственноручномъ письмѣ своемъ къ прелату жмудскому *Гимбуту*. Напротивъ, слѣдуетъ произносить: „*Гинкетз, бекетз Пиколе*“, что въ переводѣ значитъ тоже самое, каковая формула употребляется и до нынѣ простымъ народомъ въ Литвѣ при трупѣ каждаго покойника.

Нарбуттъ (стр. 351), также по незнанію литовскаго языка, принялъ форму не литовскую: „*Гей, гей, бегейте Пиколе!*“ т. е. прочь, прочь убѣгайте Пиколи. Затѣмъ онъ прибавляетъ: „Независимо отъ звона сабель о сабли, *Тиллуссоны* производили звонъ и въ колоколъ (*Варпасъ*), такъ какъ въ древности вѣрили, будто звуки металла имѣли свойство отгонять злыхъ духовъ отъ тѣла.

(Обычай звонить по умершихъ остался и въ христіанской Литвѣ). Во время шествія погребальнаго кортежа, мужчины устраивали скачки до вкопаннаго на извѣстномъ пространствѣ столбика и кто первый достигалъ его и успѣвалъ схватить положенную на немъ монету, тотъ пользовался большою славою среди удалцовъ“.

Это подтверждаетъ сказанія Вульфстана; но послѣдніе призы (монета) не были такъ раззорительны для наслѣдниковъ, какъ вульфстановскіе.

На мѣстѣ погребенія или сожженія тѣла, *Тилуссоны* и *Лингусоны* играли на трубахъ, говаривали рѣчи, для утѣшенія родныхъ, прославляли дѣянія и подвиги покойника и нануствовали его разрѣшительною молитвою: „Иди, блаженный, съ этого брэннаго міра въ страну вѣчнаго веселья, гдѣ тебя не достигнутъ враги“. Въ заключеніе, жрецы увѣряли присутствующихъ, будто видятъ покойника, ѣдущаго по „млечному (по литовскому „птичьему“) пути“, на борзомъ конѣ, съ тремя звѣздами въ рукѣ и вступающаго въ вѣчную обитель счастья, въ сопровожденіи друзей. (*Нарбуттъъ, стр. 352. Юцевичъ, 289—295*).

Малецкій (*Maelecius*), въ сочиненіи своемъ „*De religione veterum Prussorum*“, описывая погребальные обряды пруссовъ и жмудиновъ, говоритъ, между прочимъ:

„Жена должна была 30 дней оплакивать мужа, сидя на его могилѣ, отъ восхода до захода солнца; родственники же его на 3, 6, 9 и 40-й день давали обѣды, на которые приглашали душу его, молясь на порогѣ. За столомъ всѣ безмолствовали и не употребляли ножей. Служили гостямъ за столомъ двѣ женщины. Частичку каждаго кушанья бросали подъ столъ и плескали на полъ напитки, полагая, что этимъ питаютъ души умершихъ. Что изъ съѣдомаго падало случайно подъ столъ, того не поднимали, предоставляя душамъ сиротствующимъ“.

щимъ, не имѣющимъ никого изъ родныхъ, которые бы могли сотворить имъ поминки и пригласить ихъ на пиръ. По окончаніи трапезы, жрецъ, совершавшій жертву, прогонялъ души вонъ, произнося: „*или, или, душицы! Душицы, ну вэнз!*“ т. е. *вонз!*

Малецкій увѣряетъ, будто это литовская форма. Тутъ нѣтъ ни одного литовскаго слова и цѣлая фраза напоминаетъ приведенную выше мнимо-русскую—его же:

„*Га, леле и прочъ ти мене умарлз?*“

Юцевичъ, на стр. 292, сильно возстаетъ противъ этой бессмыслицы и спрашиваетъ, на какомъ языкѣ существуетъ форма: „*ну вэнз?*“

Малецкій кончаетъ: „Послѣ этого начинался самый разгаръ пира и полнѣйшее веселье: мужчины и женщины пили взаимно за здоровье другъ друга, полными кубками, обнимались, цѣловались и въ концѣ напивались до безчувствія. Такимъ пьянствомъ заканчивалось каждое религіозное торжество поминовенія душъ умершихъ!“

Нарбуттъ, на стр. 354, оканчиваетъ описаніе погребальныхъ обрядовъ слѣдующимъ образомъ:

„Послѣ сожженія покойника, родственники и друзья его тщательно собирали пепель и остатки не перегорѣвшихъ костей въ урны, которыя нерѣдко отличались прекрасною отдѣлкою; туда же бросали тѣ вещицы, которыя покойникъ любилъ при жизни: кольца, цѣпочки, браслеты, пряжки, запонки, шпильки отъ волосъ, разныя металлическія украшенія, кораллы, янтарь въ отдѣлкѣ и самородный, разныя монеты, глиняные, росписанные шарики и т. п. Нѣкоторые изъ поименованныхъ здѣсь металлическихъ предметовъ были, при разрытіи, въ послѣдствіи, могильныхъ кургановъ, находимы въ цѣлости, а другіе въ пережженномъ и слившемся отъ дѣйствія огня видѣ. Изъ этого можно заключить, что однѣ

изъ этихъ вещей сжигались вмѣстѣ съ тѣломъ, а другія опускались въ урны при погребеніи праха.

Не забывали также хоронить вмѣстѣ съ покойникомъ когти хищныхъ звѣрей и птицъ, въ убѣжденіи, что они будутъ нужны покойнику, чтобы взобраться на гору вѣчнаго блаженства“.

Въ статьѣ „Загробная жизнь“ мы видѣли уже, что ради этой причины многіе старики переставали обрѣзывать себѣ ногти, безъ которыхъ на томъ свѣтѣ не могла обойтись ни одна душа и что многія души, не сожигавшія обрѣзковъ ногтей своихъ при жизни, должны были бродить по смерти по кучамъ мусора и собирать эти обрѣзки до послѣдняго кусочка.

„На похоронахъ, продолжаетъ Нарбуттъ на стр. 358, главную роль играли плакальщицы, которыя, по народному убѣжденію, были необходимы для успокоенія тѣни. Обычай этотъ не искоренился въ простомъ народѣ до сихъ поръ, не смотря ни на политическіе, ни на религіозные перевороты. Плакальщицы—это молодая женщины, съ здоровою сильною грудью, которыя отъ момента смерти даннаго лица до опущенія его въ могилу не перестаютъ издавать самыя рѣзкіе, самыя пронзительныя крики и завыванія. Ежели умершій не имѣлъ родной и притомъ способной плакальщицы, то приглашалась сосѣдка. Удивительно, какъ эти крикуньи умѣютъ выражать самую высшую степень отчаянія и горя; но еще удивительнѣе то, что лица ихъ мгновенно проясняются и развеселяются, какъ только онѣ перестаютъ голосить и сходятъ со сцены, какъ актрисы, нисколько не проникнутыя тѣми чувствами, которыя только что предъ тѣмъ выражали. На похоронахъ бѣдныхъ людей такого плача не бываетъ; если же надъ бѣднякомъ, по неимѣнію родныхъ, некому поплакать, то какая нибудь изъ заурядныхъ плакальщицъ, по чувству набожности, всегда беретъ покричать надъ нимъ немножко“.



Наплаканныя на похоронахъ слезы тщательно собирались въ глиняные или стекляшныя сосуды (слезницы) и ставились въ могилахъ въ ногахъ умершаго.

Литвины плакальщицъ называли „*Вертме*“, а слезницы „*Аштаруве*“ (Assaruwe).

Въ Вильнѣ, какъ полагають, урны съ пепломъ князей литовскихъ погребены на Замковой горѣ, со стороны восхода солнца, а если урны были сдѣланы изъ прочнаго матеріала, то, вѣроятно, онѣ должны находиться глубоко въ землѣ до нынѣ.



## ХІ.

# ЯЗЫЧЕСКІЯ СВЯЩЕННЫЯ МѢСТА

## въ Вильнѣ.

Переходя собственно къ виленскимъ древне-языческимъ святынямъ, необходимо остановиться надъ происхожденіемъ какъ самой Вильны, такъ и историческихъ ея мѣстностей „Долины Свенторога“, „Антоколя“, „Бакшты“ и др.

Мѣсто, на которомъ существуетъ нынѣ Вильна, извѣстно было еще въ XII-мъ вѣкѣ, изъ рассказовъ исландскихъ путешественниковъ. Собиратель исландскихъ сагъ Снорро *Стурлезонъ*, въ сборникѣ своемъ „*Heimskringla*“, доказываетъ, что онъ нашелъ въ Литвѣ соплеменниковъ своихъ около *Velni* (Вильны) и *Truk* (Трокъ) и разумѣлъ ихъ рѣчь.

Очень можетъ быть, что въ началѣ тутъ были поселенія нормандскихъ пиратовъ, нападавшихъ на Литву въ IX-мъ и X-мъ вѣкахъ, и что они первые одному изъ поселеній своихъ дали названіе *Вильны*.

Балинскій въ „Исторіи Вильны“, ч. I-я, стр. 7-я, говоритъ, что когда-то давно жило въ народѣ преданіе

о какомъ-то деревянномъ замкѣ, существовавшемъ въ глубокой древности, надъ рѣкою Вильною, на той горѣ, гдѣ нынѣ находится госпиталь „Младенца Иисуса“. Первобытные обитатели мѣстности, лежащей на берегу р. Вильны, литовцы и кромѣ нихъ жрецы перкунова культа и ихъ служители, составляли зародышъ будущаго города еще до Гедимина.

Длугошъ увѣряетъ, что Вильна есть очень древній городъ, но присовокупляетъ, будто онъ построенъ предками литовскаго народа и названъ Вильною въ честь предводителя ихъ *Вилмуса*, приведеннаго этихъ предковъ изъ Италіи. Но увѣреніе это, основанное на случайномъ созвучіи именъ, является слѣдствіемъ непреодолимой склонности старинныхъ литовскихъ писателей производить литовцевъ непременно отъ римскаго рода. Между тѣмъ, первые норманны изъ Скандинавіи, извѣстные въ IX-мъ вѣкѣ въ Россіи подъ именемъ *варяговъ*, привлекаемые грабежемъ и торговлею на янтарные берега Балтики, также какъ и въ русскія страны за Двиною, ввели нѣкоторый родъ цивилизаціи среди этого бѣднаго люда. Вѣроятно, повторяемые часто набѣги шведовъ, норвежцевъ и датчанъ на балтійскіе берега дали начало сказочному преданію о прибытіи въ Литву изъ Рима и Италіи *Палемона* и 500 его товарищей. (*Балинскій, ч. I, стр. 5—17; 43—53*).

Стрыйковскій, не поступаясь своимъ *Палемономъ* ни на шагъ, слѣдующимъ образомъ описываетъ основаніе *Вильны, Долины Свинторога* и *Трокъ* (*ч. I-я, стр. 306 и т. д.*).

„Со смертію Войшелка, сына Миндовга, окончилась фамилія римскаго князя *Палемона*, герба Колонны, и власть надъ Литвою перешла къ *Дорспрунгамъ*, герба Центавра (*Китаугус*), также потомкамъ князей римскихъ, только другой фамиліи. Княземъ былъ избранъ *Свинторогъ Утенесовичъ*, а Левъ Даниловичъ, князь владиміръ-

волинскій, занялъ русскія княжества: Подляское, Волинское, Кіевское, Звенигородское (у Стрыйковского: „Swinięgradskie“), Подгорское, гдѣ и городъ Львовъ, отъ имени своего, съ двумя славными замками, выстроилъ.

„*Свинторогъ Утенесовичъ*, князь жмудскій, единогласно избранный въ Керновѣ на великое княженіе литовское и новгородское, былъ единственнымъ потомкомъ римскихъ князей: Юліана *Дорспрунга*, Проспера *Цезарина* и *Гектора*, герба Розы, которые въ эти сѣверныя страны Жмуди и Литвы, вмѣстѣ съ *Публисомъ Палемономъ* или *Либонемъ*, по Божьему соизволенію, моремъ прибыли. А *Свинторогъ*, когда былъ избранъ на княженіе литовское, имѣлъ 96 лѣтъ!

„*Свинторогъ* (Swintorog, Swintoroh, Swiatorog, Swinterog), при жизни своей, назначилъ на княженіе въ Литвѣ сына своего *Гермунта* (иные называютъ *Гереймунтъ*), князя жмудскаго. Проѣзжая съ этимъ сыномъ на охоту, онъ увидаль мѣсто въ пустынѣ, между горами, гдѣ рѣчка Вильна впадаетъ въ Вилію, которое ему очень понравилось и онъ приказалъ своему сыну *Гермунту*, чтобы на этомъ мѣстѣ, между этими рѣчками, по смерти, тѣло его, по обрядамъ поганской религіи, сжечь и чтобы потомъ нигдѣ, а исключительно только на этомъ мѣстѣ, тѣла другихъ князей литовскихъ, а также важнѣйшихъ бояръ и господъ, были сожигаемы и погребаемы. Послѣ этого, чрезъ два года княженія, *Свинторогъ Утенесовичъ* умеръ, 98-ми лѣтъ отъ роду.

„*Гермунтъ Свинтороговичъ*, еще при жизни отца, по волѣ его, избранный великимъ княземъ литовскимъ, русскимъ и жмудскимъ, былъ, по смерти отца, въ 1272 г., коронованъ велико-княжескою шапкою, по обычаю, наследованному отъ предковъ, въ Керновѣ. Потомъ, исполняя волю родителя, устроилъ погребальную долину, въ томъ мѣстѣ между горами, гдѣ р. Вильна впадаетъ

въ р. Вилію, истребилъ бывшій на ней лѣсъ, расчистилъ обширную площадь и освятилъ это мѣсто съ своими жрецами, по обычаю поганскому; набивъ много разнаго скота въ жертву своимъ богамъ. Тамъ, прежде всего, тѣло отца своего Свинторога Утенесовича, по обрядамъ вѣры, предалъ сожженію, убравъ его въ вооруженіе и самыя дорогія одежды. И саблю его, и сайдакъ, и копье, борзыхъ и гончихъ собакъ по парѣ, ястреба, сокола и лучшаго коня его, на которомъ всегда ѣздилъ, и раба его любимца, вѣрнѣйшаго и преданнѣйшаго, живьемъ вмѣстѣ съ нимъ сожгли на кострѣ, который сложили изъ дубоваго и сосноваго лѣса; рысьи же и медвѣжьи когти бояре и господа, стоя вокругъ, въ огонь бросали. Послѣ сожженія, остатки тѣла Свинторога были собраны въ гробъ и погребены и на мѣстѣ ихъ насыпана высокая могила.

„Обычай сожженія труновъ на мѣстахъ погребенія литвины, вѣроятно, наслѣдовали отъ *Палемона* и *Либона* и отъ другихъ въ эти страны занесенныхъ римлянъ, которые также имѣли обыкновеніе сжигать тѣла умершихъ.

„Такимъ образомъ, и Литва, по примѣру другихъ поганскихъ народовъ, князьямъ своимъ похороны чрезъ огонь совершала, на томъ мѣстѣ, гдѣ Вильна впадаетъ въ Вилію и гдѣ сожгли Свинторога первымъ. Тамъ же сожигали и другихъ князей и вельможъ до временъ Ягайлы, а называли это мѣсто именемъ своего князя *Swinthoroha*, первымъ на немъ сожженного. А дабы эта долина смерти пользовалась большимъ почетомъ и святостью, князь Гермунтъ установилъ на томъ мѣстѣ и обезпечилъ жрецовъ и ворожей, которые возносили богамъ молитвы и приносили жертвы. Также неугасаемый, вѣчный огонь изъ дубовыхъ дровъ пылалъ на этомъ кладбищѣ днемъ и ночью, во славу бога *Перкуна*, который владѣлъ громами, молніею и огнемъ. А если бы, по не-

радѣнію жрецовъ или предназначенныхъ для этой цѣли служителей, огонь когда либо погасъ, тогда таковые, безъ всякаго милосердія, какъ святотатцы, бывали сжигаемы огнемъ“.

Сказаніе Стрыйковскаго подтверждаютъ: Кояловичъ въ „Hist. Lithu.“, ч. I-я, кн. V-я, стр. 138, и Гржибовскій въ сочиненіи: „Неопѣненное сокровище о. о. Францисканцевъ Литовскихъ.“ Вильна, 1740, in 8-о, гл. 1-я.

Балинскій, въ „Исторіи Вильны“, ч. I-я, стр. 8, также не отрицаетъ этого сказанія и прибавляетъ:

„Swintorog должно бы значить *святой алтарь*, потому что по латыни *rogum* или *rogus* есть мѣсто печали, предназначенное для сожженія и погребенія умершихъ. Но литвины по латыни не знали. Намъ кажется, что Swintorog ближе должно было называться *Швинтасъ-рагасъ*, отъ литовскихъ словъ *szwyntas*—святой и *ragas*—рогъ, алтарь, а вмѣстѣ *святой-рогъ*, потому что долина эта заканчивалась какъ бы клиномъ, угломъ, рогомъ между рѣками Виліею и Вильною, а въ сторонѣ отъ святилища Перкуна погребали прахъ умершихъ еще до Гедимина. Русское же названіе *Святый-рогъ* могло быть присвоено этой долинѣ, потому что Вильна, какъ ближе лежащая къ русскимъ границамъ, была посѣщаемая русскими въ самомъ началѣ ея основанія.

„По этой же причинѣ и нижній виленскій замокъ былъ также по-русски названъ *Кривый-городъ*, такъ какъ русскій языкъ постоянно почти имѣлъ преимущество предъ литовскимъ, во-первыхъ, потому, что Литва находилась во власти Россіи и, во-вторыхъ, потому, что князья литовскіе, въ свою очередь, собравшись съ силами и подвигаясь своими завоеваніями внутрь Россіи, должны были изучить языкъ захваченныхъ ими славянскихъ мѣстностей. Наконецъ, русскій языкъ былъ языкомъ письменнымъ и слѣдовательно образованнымъ.

Ко всему этому нужно присовокупить, что распространявшаяся въ то время греческая религія нанесла окончательный ударъ литовскому языку“.

Далѣе, на стр. 51 той же части, Балинскій справедливо замѣчаетъ:

„Во всякомъ случаѣ, основаніе Вильны принадлежитъ не Гедимину, а его предкамъ. По всѣмъ хроникамъ, Гермунтъ, великій князь литовскій, избралъ это мѣсто для погребенія князей и почитанія своихъ боговъ, съ каковою цѣлью и назначилъ туда жрецовъ. Слѣдовательно, должно полагать, что мѣсто это было и прежде уже обитаемо и многолюдно, когда ему дано такое важное назначеніе. Самое названіе Вильны, происходящее не отъ главной р. *Вилии*, а отъ меньшей, впадающей въ нее *Вильны*, показываетъ, что прежнее поселеніе было надъ Вильною и что Гермунтъ, расчищая лѣса въ долинѣ „*Швынтарагасъ*“, и Гедиминъ, нѣсколько десятковъ лѣтъ позднѣе, сооружая замокъ на горѣ, на углу этой рѣчки возвышающейся, ничего иного не дѣлала, какъ только приближались къ Вилѣ и распространяли древнее поселеніе, лежавшее на берегу *Вильны* или *Виленки* и охраняемое однимъ деревяннымъ замкомъ“.

Если историки отвергаютъ существованіе *Палемона* итальянскаго или *Балмунда* скандинавскаго, то слѣдуетъ отвергнуть и прямого потомка его *Свинторога*.

Кто же послѣ этого далъ названіе долинѣ *Свинторога*? Очевидно не литовцы, потому что ни *швынта*, ни *рагасъ* слова не литовскія, а заимствованныя изъ другого языка и изуродованныя на свой ладъ. Такъ точно и упомянутое выше *швеннта мѣсте*, по-русски *святое мѣсто*, а по-польски еще ближе *święte miejsce* или *święte miasto*; *швеннтаугнасъ*—святой огонь, *święty ogień*, также не литовскія слова; только *швеннта-уна*—*святая рѣчка* напоминаетъ характеръ литовской рѣчки, и то лишь въ послѣднемъ словѣ. Наконецъ, почему *швынта-рагасъ*

присвоилось святынѣ только виленской долины, а не другимъ такимъ же храмамъ? Изъ всего этого слѣдуетъ заключить, что у литовцевъ не было слова *святой* и они позаимствовали его отъ русскихъ или поляковъ; а какъ, по свидѣтельству Балинскаго, въ Литвѣ, въ глубокой древности, господствовалъ русскій, а не польскій языкъ, то и вытекаетъ прямое логическое заключеніе, что названіе упомянутой долины *святымъ-рогомъ* было дано русскими; литовцы же передѣляли его въ *швентарагасъ*. А потому мѣстность эту и слѣдуетъ называть долиною не *Свенторога*, а *Святорога*, по ея первоначальному названію.

Э. Вольтеръ, читавшій настоящую статью въ „Виленскомъ Вѣстникѣ“, не соглашается, однако, съ этимъ моимъ выводомъ и въ письмѣ ко мнѣ пишетъ:

„*Свенторогъ* — по-литовски *Sventas ragas*. *Ragas* во множествѣ литовскихъ и прусскихъ мѣстностей означаетъ *мысъ*, по-нѣмецки *Cap* (капъ). Мысъ образуется при сліянніи двухъ рѣкъ, Вилии и Вилейки. *Швентасъ*—святой; *Срентасъ*—святой, чистый — слово индо-германское или обще-арійское; если сравнивать зендск. древне-персидское *Срентасъ*—святой; санскритск. *Сватра*—жертва, готское *huns-la*—жертвоприношеніе, священнодѣйствіе“.

Странны, однакоже, подобныя созвучія, при названіи однихъ и тѣхъ же предметовъ, на языкахъ совершенно другъ другу чуждыхъ! Въ такомъ случаѣ ужъ не славяне-ли позаимствовали у литовцевъ свои слова: *святой*, *święty* и *рогъ*?

Долина эта, какъ увидимъ далѣе, занимала пространство, омываемое р. Виленкою, по берегу Вилии, именно нынѣшнюю Каедральную площадь, Ботаническій садъ и Телятникъ, съ одной стороны до *Антоколя*, а съ другой—до *Лукишекъ*.



Но вотъ какъ Стрыйковскій, съ полною вѣрою въ непогрѣшимость своихъ сказаній, описываетъ происхожденіе *Трокъ* и *Вильны*.

На стр. 369:

„Во время охоты въ пяти миляхъ отъ Кернова (столицы своей), между рѣками Вакою и Вилією, Гедимину понравилось одно мѣсто, на которомъ онъ основалъ городъ *Старые Троки*. Понравилось же ему это мѣсто потому, что на немъ совершилась самая счастливая охота, такъ что всѣ его дворяне, охотники, ловчіе, куктики и мальчишки были обременены зайцами, лисицами, кунями и прочими мелкими звѣрями и птицами, которыхъ они имѣли во множествѣ предъ собою, за собою и на себѣ связанныхъ и привѣщенныхъ въ *торокахъ* (польски w trokach); крупнымъ же звѣремъ: лосями, оленями, дикими козами и проч. были нагружены цѣлые возы. Отъ слова troki Гедиминъ назвалъ свой городъ „*Троками*“. *Старыми* же *Троками* городъ началъ называться въ послѣдствіи, послѣ постройки сыномъ его Кейстутомъ *Новыхъ Трокъ*. Въ *Старые Троки* Гедиминъ перенесъ свою столицу изъ *Кернова*“.

Балинскій противъ этого возражаетъ на стр. 52:

„Извѣстно, съ какою легкомысленностію наши историки производятъ названіе *Трокъ* отъ польскихъ охотничьихъ trok, не принимая въ соображеніе того, что литовскій городъ и притомъ такъ давно основанный, когда литовцы и не думали еще о сближеніи съ Польшею, напротивъ, безпрестанно нападали на нее и грабили, долженъ былъ непременно имѣть свое коренное литовское названіе. Польское слово troki вошло въ употребленіе уже послѣ введенія христіанства; городъ же Троки собственно по-литовски назывался *Тракисъ*. Въ рыцарскихъ и латинскихъ сочиненіяхъ XIV-го столѣтія вездѣ находимъ латинское выраженіе Dux Tracensis, in Tracis, а по-нѣмецки не иначе, какъ Trakken,

Тракин. Въ литовскомъ языкѣ находимъ до нынѣ употребляемое въ простомъ народѣ слово Тракас, что значитъ мѣстность, очищенная отъ березника. Троксій замокъ также кажется былъ стариннымъ, и можетъ быть до-гедиминовскимъ охотничьимъ дворцомъ. Гедиминъ лишь временно сдѣлалъ его своею резиденціею и только Кейстутъ и сынъ его Витольдъ распространили и сдѣлали достойнымъ мѣстопробываніемъ могучихъ князей.

Въ одной изъ жалованныхъ грамотъ для Трокъ, данной Витольдомъ „*Лита Божего нароженія 1384, мѣсяца Августа 23 дня Индикта*“, читаемъ, что Троки тогда уже, т. е. до принятія Литвою христіанства, были довольно значительнымъ городомъ въ Литвѣ; что уже тамъ были христіанскія церкви и что за озеромъ, окружающимъ замокъ и называемымъ *Голве*, находился королевскій звѣринецъ“.

Прибавимъ, что въ путевыхъ запискахъ и военно-походныхъ журналахъ меченосцевъ (*Wegeweiser*) городъ этотъ постоянно называется Траккен. Но продолжаемъ выписку изъ Стрыйковского объ основаніи Вильны (*стр. 370—372*).

„Гедиминъ поѣхалъ однажды на охоту и на одной изъ горъ, окружающихъ погребальную долину *Свинторога*, убилъ собственноручно тура, отчего гора донинѣ называется „Турьею“ (Замковая гора). На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ убилъ тура и гдѣ нынѣ стоитъ Вильна съ своими замками, онъ видѣлъ во снѣ большого, сильнаго волка, который, какъ крѣпость отъ выстрѣловъ, былъ покрытъ крѣпкою желѣзною бронею, и въ томъ волкѣ слышалъ голоса ета другихъ волковъ, поднимавшихъ ужасный вой, который разносился по всей окрестности. Сонъ этотъ растолковалъ ему *Криве-Кривейто*, литовскій поганскій епископъ, *Лиздейко*, который отцомъ Гедимины Витенесомъ (?) былъ найденъ въ орлиномъ гнѣз-

дѣ, въ одной лѣсной пущѣ, при большой дорогѣ, а по другимъ—въ изящной колыбели, повѣшенной на деревѣ въ лѣсу. Этого Лиздейку (отъ *lizdas*—гнѣздо) Витенесъ воспиталъ при своемъ дворѣ, обучилъ разнымъ наукамъ и наконецъ сдѣлалъ *Криве-Кривейтолз*, о чемъ ясно свидѣтельствуютъ: Кромерь, Мѣховіусъ, Длугошъ, Эразмъ Стелла и Дусбургъ“.

Сказка эта выдумана, съ цѣлью польстить роду Радзивилловъ, родоначальникомъ которыхъ будто бы былъ *Лиздейко*.

„Лиздейко такъ объяснилъ сонъ: тотъ волкъ, котораго ты видѣлъ какъ бы выкованнымъ изъ желѣза, великій княже Гедимине! значить, что на семъ погребальномъ мѣстѣ, посвященномъ твоимъ предкамъ, возникнетъ неприступная крѣпость и столица этого государства, а сто волковъ, въ томъ волкѣ ужасно вывшихъ, голосъ которыхъ разносился во всѣ стороны, знаменуетъ, что крѣпость и городъ, доблестями и достоинствами своихъ гражданъ, равно великими подвигами потомковъ твоихъ, великихъ князей литовскихъ, которые будутъ имѣть здѣсь свой престолъ, разгласятся и прославятся во всѣхъ странахъ свѣта и что вскорѣ изъ этой столицы они будутъ повелѣвать и другими народами“.

Гедиминъ послушался Лиздейку и построилъ на горѣ крѣпкій замокъ, а въ долину—укрѣпленный городъ.

Сказка эта пережила столѣтія и вѣрить ей перестали очень недавно.

Въ Литвѣ даже живетъ пословица: „Небылица, какъ о желѣзномъ волкѣ“, или: „Имѣеть о *толз-то* такое же понятіе, какъ о желѣзномъ волкѣ“.

Нарбуттъ не отрицаетъ, однако, этой сказки, какъ и всѣхъ сказокъ Стрыйковскаго. Напротивъ, на стр. 271 говорить:

„Последній первосвященникъ *Лиздейко*, истолковавшій великому князю литовскому Гедимину историческій (!)

его сонъ о *железномъ волкѣ*, прозорливымъ умомъ своимъ понималъ, что возрастающее въ могущество въ государство, управляемое доблестнымъ и сильнымъ государемъ, должно было имѣть неприступную и богатую столицу, для которой сама природа создала мѣсто на неприступныхъ виленскихъ горахъ. Гедиминъ, охотясь въ этихъ горахъ и убивъ тура на горѣ, до нынѣ „Турьею“ называемою, ночевалъ въ священномъ лѣсу долины Свинторога и тутъ же увидѣлъ во снѣ желѣзнаго волка. При этомъ въ горахъ дѣйствительно могли быть волки и пламенное воображеніе горячаго охотника могло смѣшать дѣйствительность съ сновидѣніемъ. Слѣдовательно, все способствовало Лиздейкѣ для удачнаго пророчества и склоненія Гедимина къ постройкѣ города, о чемъ, быть можетъ, и самъ Гедиминъ помышлялъ прежде“.

Выше было сказано, что Гедиминъ основалъ Вильну не на пустомъ, но на обитаемомъ мѣстѣ, давно уже освященномъ находженіемъ на немъ языческой святыни. Вѣроятно поэтому лѣтописцы и утверждаютъ, что Вильна существовала еще въ XII вѣкѣ. (*Карамзинъ, IV, прим. 103, стр. 45; прим. 277; Длугошъ, IX, 116; Чацкий, I, 8*).

По Балинскому (*стр. 8*) историческая эпоха Вильны начинается съ 1321 года, когда Гедиминъ перенесъ свою столицу изъ Трокъ. Кодебу (*Preussens aeltere Geschichte, Band II, стр. 353*) помѣщаетъ письма Гедимина съ 1323 года, въ одномъ изъ которыхъ онъ называетъ уже Вильну столичнымъ своимъ городомъ.

Балинскій описываетъ древнюю Вильну слѣдующимъ образомъ (*стр. 111—113*):

„Въ глубинѣ зеленой долины, на послѣдней изъ горъ, окружающихъ русло рѣчки Вильны, при впаденіи ея въ Вилію, красовалась каменная крѣпость, дѣло рукъ могучаго Гедимина, защищаемая тремя башнями и высокими стѣнами. Съ юга замковой горы, между нею и

р. Вильною, лежалъ обширный дворецъ одного изъ знатнѣйшихъ магнатовъ литовскихъ *Монивиды*; у подошвы же ея тянулся вдоль Вилии нижній замокъ, называемый *Кривымъ городомъ*. Важнѣйшею частію *Криваго-города* была священная *долина Святиорога*, занимавшая самый клинъ пространства между рр. Виліею и Вильною и поросшая древними дубами, среди которыхъ пылалъ неугасаемый огонь (Балинскій также ошибочно называетъ его *Зничъ*), предметъ высшаго почитанія у литовцевъ. Окружала его деревянная стѣна святыни, къ которой примыкали жилища поганскаго духовенства. Нѣсколько дальше, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь каѳедральный костель, стоялъ неуклюжій истуканъ бога громовъ, Перкуна, на кремнистомъ постументѣ. Въ сторонѣ отъ святилища *Перкуна* возвышалась круглая башня изъ камня и кирпича съ окномъ, изъ котораго вѣщіе жрецы объявляли народу свои пророчества. Нынѣшняя колокольня каѳедральнаго костела была, по лѣтописямъ литовскимъ и мѣстнымъ преданіямъ, тою именно башнею, съ которой Лиздейко и его предшественники торжественно показывались предъ народомъ, для объявленія ему хорошаго или дурного предсказанія. Однако, на это нѣтъ очевидныхъ доказательствъ.

Весь *Кривой-городъ* окруженъ былъ крѣпкими, хотя и деревянными стѣнами, частоколомъ или *заборолями* и представлялъ изъ себя крѣпость. Рѣчка Вильна также его окружала: она шла прежде около „лысой“ (нынѣ „крестовой“ горы, принадлежащей дворянскому клубу), мимо замковой горы, съ лѣвой ея стороны, чрезъ Ботаническій садъ и нынѣшнюю Каѳедральную площадь и впадала въ р. Вилію. Рядомъ съ этою рѣчкою, съ запада, проходила рѣчка *Вингеръ* и также впадала въ Вилію, на той же площади, въ самомъ близкомъ разстояніи отъ устья Вильны. Но Гедиминъ, съ цѣлью поднять высоту замковой горы и окружить водою оба

замка, приказалъ прорыть нынѣшнее русло Вильны съ другой стороны горы.

Ручей, называемый *Вингеръ* (нынѣ *Вигры*, *Венгры*, известная часть города), по беззаботности и слабости короля Александра Ягеллоновича, былъ отнятъ отъ города и переданъ въ вѣденіе доминиканскаго монастыря. Отъ этого возникли споры ксендзовъ съ городомъ и продолжались до тѣхъ поръ, пока новый король Сигизмундъ I не повелѣлъ доминиканцамъ уступить этотъ ручей городу въ 1535 году. Доминиканцы, какъ видно изъ акта 1536 года, въ день св. Елены постановленнаго, продали ручей за сто копъ литовскихъ грошей и за 10 пудовъ перцу. Теперь ручей собранъ въ бассейны и водоемы и служитъ для городского употребленія. (*Балинскій*, ч. II, стр. 78)“.

Прежде, чѣмъ указать, гдѣ именно находились древнеязыческія литовскія капища, необходимо доискаться, почему отъ нихъ не осталось никакихъ слѣдovъ?

Балинскій, въ I ч., на стр. 121, пишетъ:

„Не только каѳедральный костелъ ст. Станислава въ Вильнѣ, на что, кромѣ свидѣтельствъ лѣтописей, имѣются доказательства въ подлинной буллѣ Урбана VI, выданной на предметъ освященія его, но мы увѣрены, что и другіе костелы, основанные въ Вильнѣ Владиславомъ Ягайлою, воздвигнуты на мѣстахъ, посвященныхъ какому нибудь поганскому почитанію, такъ какъ было всеобщимъ правиломъ въ первоначальной христіанской церкви, при крещеніи поганъ, тамъ устраивать храмы истинной вѣры, гдѣ прежде возносились языческія святилища, или тамъ, гдѣ были священныя рощи, деревья, камни или хотя бы и чистыя мѣста, но почему либо почтенныя вѣрованіемъ народа. Папа святой Григорій въ особенности это приказывалъ, какъ видно изъ посланія его къ св. Августину, апостольствовавшему на Британскихъ островахъ. Онъ писалъ: „Христіане не должны

быть слишком ретивы въ истребленіи святынь языческихъ, но должны только низвергать истуканы ихъ боговъ, окроплять святою водою, воздвигать алтари и помѣщать на нихъ частицы святыхъ мощей. Ежели эти святыни построены прочно, то нужно въ нихъ перемѣнить только предметы боготворенія и злого духа замѣнить изображеніемъ истиннаго Бога и то для того, чтобы народъ, видя, что его святости уничтожены, добровольно отказывался отъ своихъ заблужденій, а познавалъ и восхвалялъ истиннаго Бога въ мѣстахъ, къ которымъ привыкъ и на которыя собирался охотнѣе“. („*Historia Ecclesiastica gentis Anglorum Venerabilis Bedae Presbitéri*“, стр. 42 ed. 1366 года).

Кажется, другихъ причинъ отыскивать не нужно.

Вильна, разросшаяся чрезвычайно быстро, имѣла въ послѣдствіи нѣсколько языческихъ храмовъ. Изъ нихъ самый знаменитый, просуществовавшій до послѣднихъ дней язычества, былъ посвященъ *Перкуну*. Иоаннъ-Фридрихъ Ривіусъ въ своей „Хроникѣ“ описываетъ виленское *Ромное* слѣдующимъ образомъ:

„Въ Вильнѣ, гдѣ теперь находится кафедральный костель, былъ въ древности дубовый лѣсъ, посвященный языческимъ богамъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Вилейка впадаетъ въ Вилію; тутъ же у лѣса былъ большой храмъ Юпитера-громовержца или *Перкуна*, т. е. бога громовъ, построенный княземъ *Гереймундомъ* (Гермунтомъ), въ 1265 году, изъ камня. Длина его была 150, ширина 100 и высота стѣнъ 15 локтей. Но надъ нимъ кровли не было; одинъ только входъ со стороны большой рѣки велъ въ него. При стѣнѣ, находившейся противъ входа, была каплица (родъ часовни), которая заключала въ себѣ разные рѣдкіе и драгоценные священные предметы. Подъ нею былъ склепъ (пещера, гдѣ содержали священныхъ ужей, змѣй, жабъ и другихъ пресмыкаю-

щихся. Надъ капищею возвышалась башня, которая превосходила высоту стѣны на 16 локтей. Въ самой башнѣ стоялъ деревянный истуканъ бога, принесенный изъ священныхъ лѣсовъ Полунги (?). Капище и башня были изъ кирпича. Предъ капищею былъ воздвигнутъ алтарь на 12 ступеняхъ, каждая въ  $\frac{1}{2}$  локтя высоты и 3 локтя ширины и обнесень оградою; алтарь же имѣлъ 3 локтя высоты и 9 квадратныхъ локтей ширины; сверху украшало его множество зубровыхъ роговъ. Каждая изъ ступеней была посвящена отдѣльному знаку зодіака и на нихъ жертвенные огни пылали помѣсячно, съ того дня, какъ солнце вступало въ извѣстное созвѣздіе, повышаясь или понижаясь. Такимъ образомъ, высшая ступень была *Рака*, а низшая *Козерога*. На ступеняхъ, однако, настоящая жертва не сжигалась (какъ думали), а только фигуры, сдѣланныя изъ воску, какъ на примѣръ *льва*, *дѣвы*. На самомъ же алтарѣ сожигали животныхъ въ нѣкоторые праздничные дни. На немъ пылалъ неугасаемый день и ночь огонь, который стерегли особо-назначенные для того жрецы. На немъ, на срединѣ, была устроена впадина такъ искусно, что ни ливень, ни снѣгъ, ни вѣтеръ не могли потушить огонь; напротивъ, въ такихъ случаяхъ пламя взвивалось еще выше, чему, вѣроятно, способствовали горючіе матеріалы. У входа въ святилище былъ дворецъ *Креве-Кревейто*, что значитъ первосвященникъ. Дворецъ имѣлъ круглую башню, съ которой наблюдали движенія солнца и по этому наблюденію возжигали на ступеняхъ алтаря огни, возвѣщавшіе наступленіе перваго дня мѣсяца, а кирпичъ, отмѣченный особымъ знакомъ, вмазывался въ стѣну башни въ началѣ каждого года и служилъ для лѣтоисчисленія. Одна старинная легенда, находящаяся у Митрофаніуса изъ Пинска (?) въ его *Annal. Ruthenien*, свидѣтельствуетъ, что когда князь Гереймундъ задумалъ строить этотъ храмъ, то отецъ его *Свинто-*



рогъ, въ 1263 году, еще за два года до начала постройки, послалъ большое посольство къ прорицательницѣ рѣки Нѣмана (?) на Жмуди съ вопросомъ, какая судьба ждетъ святыню? Сивилла обѣщала ей существованіе до послѣднихъ дней самого язычества, причемъ приказала сдѣлать 122 круглыхъ кирпича и каждый изъ нихъ отмѣтила мистическими знаками, предсказывавшими хорошій или дурной годъ; но на послѣднемъ кирпичѣ былъ изображенъ знакъ двойного креста. Этотъ кирпичъ былъ подаркомъ князю отъ прорицательницы и знакъ его включенъ въ государственный гербъ древней Пруссіи. Но другіе объясняли, что съ наступленіемъ времени задѣлки въ стѣну послѣдняго кирпича наступитъ паденіе язычества и разрушеніе христіанами самаго храма. Эти кирпичи еще можно видѣть въ большей ихъ части въ нижней половинѣ каедральной колокольни съ южной стороны, верхняя половина которой надстроена тремя осмиугольными этажами послѣ пожара въ 1399 году. Кирпичи эти не заслуживаютъ теперь такого вниманія, какимъ пользовались они въ старину; достойно, однако же, замѣчанія то, что въ 1387 году, въ понедѣльникъ „Бѣлой недѣли“, когда началось разрушеніе храма, въ стѣнѣ его находились 121 кирпичъ Сивиллы“. (*Виленскій Еженедѣльникъ* (Tygodnik). 1816 г., № 60).

Нарбуттъ возражаетъ противъ этого на стр. 230, говоря:

„Виленская святыня была изъ рода святынь огня, извѣстныхъ у древнихъ грековъ подъ именемъ Pyraethea или Pygea, которыя всегда были безъ крышъ и состояли изъ алтарей, окруженныхъ стѣнами. Слѣдовательно, тотъ алтарь, о которомъ говоритъ авторъ, былъ *алтаремъ вѣчнаго огня* и на немъ никакія жертвы сожигаемы быть не могли. Вѣрнѣе же рѣчь идетъ о ступеняхъ, ведущихъ къ отдѣльнымъ жертвенникамъ, которые должны были устраиваться съ одной только стороны, т. е. со

стороны башни, дабы сожженіе жертвъ производилось предъ лицомъ боговъ. Башня эта и была собственно *adytum*, въ которой, однако, находились кумиры не одного *Перкуна*, но и другихъ боговъ“ (?).

Выше мы видѣли, что Балинскій сомнѣвается, чтобы виленская колокольная башня, стоявшая будто бы въ сторонѣ отъ святилища, была тою именно башнею, съ которой *Креве-Кревейты* торжественно показывались народу и объявляли ему волю боговъ.

Сомнѣніе тутъ едва ли можетъ быть чѣмъ нибудь оправдано. Самая башня, по неуклюжей и грубой формѣ своей, видимой до нынѣ, не годилась ни для какого другого употребленія: для храма и даже для жилья она была слишкомъ мала, для алтаря *Перкуна*, или для вѣчнаго огня—слишкомъ громадна; притомъ построена была въ формѣ какого то мѣшка, съ одною маленькою дверью, и потому предположенія, что въ ней хранились разныя религіозныя драгоценности и сокровища храма и что она служила жрецамъ для бесѣдъ съ народомъ отъ имени боговъ, заслуживаетъ полной вѣры.

Нарбуттъ, однако, противорѣчитъ самъ себѣ, называя эту башню *adytum*, т. е. языческимъ *sancta sanctogum*, входъ въ который воспрещался подъ страхомъ смерти. Для этого башня была слишкомъ мала, такъ какъ, по описанію самого же Нарбутта, *adytum* состояло изъ каменной стѣны, окружавшей священный дубъ, алтари и истуканы разныхъ боговъ, а также вѣчный огонь. Самая башня не могла стоять внутри *adytum*, потому что туда народъ не допускался, но, безъ сомнѣнія, находилась въ одной изъ священныхъ стѣнъ и выходила лицевою стороною на площадь, доступную народу. Иначе башня не могла бы называться *Зиниче*—мѣсто прощанія.

Такимъ образомъ, виленское *Ромное* существовало дѣйствительно и имѣло характеръ друидскихъ храмовъ.

Круглый низъ каедральной колокольни, двухъ-ярусный, еще до половины нынѣшняго столѣтія сохранялся въ его первобытной, безыскусственной простотѣ, со всеѣмъ своимъ безобразіемъ и несимметричностью узкихъ, какъ бойницы, разбросанныхъ на разной высотѣ, оконъ; это то безобразіе и составляло всю историческую цѣнность зданія. Но кому то захотѣлось уничтожить этотъ памятникъ сѣдой старины и прорубить окна симметрично, по шнуру.

Разсмотримъ другіе языческіе храмы въ Вильнѣ.

Стрыйковскій (*ч. I. стр. 373*) пишетъ:

„Была еще на *Антоколь* (въ г. Вильнѣ) огромная зала или кумирная всеѣхъ боговъ, которыхъ Литва, по чертовскому навожденію, чтила. Тамъ всегда по четвергамъ съ вечера жрецы жгли восковыя свѣчи“.

Балинскій (*ч. I, стр. 115*) такъ описываетъ *Антоколь*.

„На *Антоколь*, гдѣ теперь костель св. Петра, также была какая то поганская святыня, деревянная, посвященная всеѣмъ литовскимъ богамъ. Названіе *Антоколя*, если бы мы выводили его, какъ нѣкоторые хотятъ, отъ латинскаго, производилось бы отъ *ante*—предъ и *collis*—холмъ, такъ какъ расположенъ онъ подъ горами. Но мѣсто, гдѣ была святыня литовская, съ давнихъ поръ должно было имѣть названіе литовское, а не латинское. Антоколь названъ такъ отъ литовскаго выраженія *ant-to-kałna*, что значитъ *на той горѣ*, или отъ *ant-pakałnes*—на долинѣ, смотря по тому, какъ тотъ, кто первый далъ названіе, взглянулъ на Антоколь: плывущему по Вилии онъ кажется лежащимъ на высокой горѣ, а съ берега рѣки кажется положеннымъ на равнинѣ, у подошвы лѣсистыхъ горъ. Впрочемъ, названіе *Антоколь* въ началѣ, вѣроятно, было дано только тому мѣсту, на которомъ стояла поганская святыня, а не

нынѣшнему предмѣстью, которое возникло только во времена христіанства. А что означенная святыня, съ принадлежавшими къ ней строеніями, дѣйствительно существовала тамъ, гдѣ нынѣ костель св. Петра, т. е. на возвышенностяхъ, доказывается тѣмъ, что древніе литовцы это собственно мѣсто и называли *ant-to-kaŋna* — на той горѣ.

Кояловичъ въ „*Histor. Lituan.*“, часть II, кн. I, стр. 11, говоря объ Антоколѣ, пишетъ: „*quem locum vulgari lingua Anticalnie, id est antemontanum dicimus,*“ что вполне соглашается съ нашими доводами. Въ Виленскомъ уѣздѣ есть нѣсколько урочищъ, называемыхъ *Антоколь*, и всѣ они лежатъ или на горахъ, или на ихъ покатостяхъ“.

Нарбуттъ (*стр. 230*) увѣряетъ, что въ Вильнѣ на Антоколѣ были двѣ языческія святыни: одна, подъ крышею, посвященная всѣмъ богамъ, родъ литовскаго Пантеона, находилась тамъ, гдѣ теперь дворецъ князей Сапѣговъ, занятый подъ военный госпиталь. Изъ архивовъ этого княжескаго рода, находящихся въ Деречинѣ, Нарбуттъ вычиталъ, что четырехъ-угольное строеніе это сооружено на развалинахъ прежняго языческаго четырехъ-угольнаго же зданія. Описаніе этого храма для потомства не сохранилось; но должно полагать, что въ немъ была коллекція истукановъ всѣхъ боговъ. Другой языческій храмъ, въ честь богини любви *Мильды* (или только алтарь ея), находился въ саду Гедимина, тамъ, гдѣ нынѣ костель св. Петра, также на *Антоколь*.

Въ „Трудахъ московскаго археологическаго общества“ (Древности), вып. 2, Москва 1867; Киркоръ, въ статьѣ *Антоколь*, преклоняясь предъ Нарбуттомъ, также говоритъ, что литовская Валгалла или Пантеонъ былъ на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь военный госпиталь; что изъ развалинъ этого храма въ XVII столѣтіи князь Сапѣга

построилъ палаты въ прекрасномъ готическомъ стилѣ и что костель св. Петра построенъ на мѣстѣ капища богини *Мильды*. Въ „Извѣстіяхъ же Имп. археолог. общ.“, т. I, Спб. 1859, говоритъ о Пантеонѣ слѣдующее: „У меня есть рисунокъ, изображающій этотъ Пантеонъ. Подлинный рисунокъ сдѣланъ въ минувшемъ столѣтіи архитекторомъ *Росси* и нынѣ находится, кажется, въ Щорсахъ у графа Хребтовича; но *Росси* нарисовалъ этотъ храмъ, руководствуясь описаніемъ его въ старинной рукописи, находившейся у двухъ профессоровъ виленскаго университета. Гдѣ теперь эта рукопись неизвѣстно.

Жаль, что *Киркоръ* не приложилъ къ своей статьѣ этого любопытнаго рисунка! Видно и архивы *Салъговъ* въ Деречинѣ неполны, когда *Нарбуттъ* не могъ, съ своей стороны, найти въ нихъ ничего подобнаго.

*Людвигъ* изъ *Покевья* (*Юцевичъ*) говоритъ (стр. 229), что костель св. Петра построенъ *Михайломъ-Казиміромъ Пацомъ* для *ксендзовъ-канониковъ латеранскихъ* (*lateranensis*), на мѣстѣ бывшаго литовскаго Пантеона, причемъ ошибочно ссылается на *Нарбутта*, который вовсе этого не утверждаетъ.

Но гдѣ же именно былъ Литовскій Пантеонъ: на мѣстѣ ли нынѣшняго военнаго госпиталя, или гдѣ костель св. Петра?

*Стрыйковскій*, *Грибовскій* (*глав. XI, стр. 90*), *ксендзь Карповичъ* въ проповѣди 29 іюня 1788 г. (*Вильна академическая типографія*) и другіе польскіе писатели доказываютъ, что костель св. Петра во времена *Ольгерда* (который, по вліянію своей супруги *Маріи*, княжны тверской, будто бы также принялъ св. крещеніе) построилъ предъ 1330 годомъ *Петръ Гастольдъ* (*Gastowd*), воевода виленскій, принявшій христіанство и самъ вступившій въ послѣдствіи въ францисканскій орденъ, на мѣстѣ прежней языческой святыни, посвященной всѣмъ богамъ, на подобіе римскаго Пантеона“, и

назвалъ его своимъ именемъ *Петра* и что Гастольдъ собственноручно, противъ дверей костела, посадилъ липу, которая была въ крѣпкомъ состояніи еще въ 1621 году и превышала главы самаго костела, почему и называлась *гастольдовою липою*. Но М. Балинскій категорически отвергаетъ годъ основанія костела, потому что Ольгердъ, повелитель обширныхъ языческихъ земель, не могъ уничтожать храмовъ господствовавшей тогда языческой религіи. Онъ только толерировалъ христіанство; но моментъ разрушенія культа *Перкуна* былъ еще далекъ. Слѣдовательно, Ольгердъ не могъ допустить замѣны языческихъ храмовъ христіанскими церквами, но вѣрнѣе—построилъ церковь св. Петра, въ память отца, сынъ Гастольда, во времена Ягеллы и посадилъ „липу Гастольда“.

Чтобъ придти къ окончательному заключенію, гдѣ именно находился Пантеонъ всѣхъ литовскихъ боговъ, нужно принять во вниманіе слѣдующее:

Стрыйковскій не указываетъ мѣста этого храма и говоритъ глухо—на *Антоколъ*, Гржибовскій, Карповичъ, Балинскій, Юцевичъ и другіе писатели категорически утверждаютъ, что эта Валгалла находилась на мѣстѣ нынѣшняго костела св. Петра; только Нарбуттъ и Киркоръ переносятъ ее на мѣсто сапѣжинскаго дворца, а основаніемъ костелу св. Петра даютъ капище *Мильды*, находившееся въ гедиминовскомъ саду; но Киркоръ не авторитетъ, а компиляторъ и безусловный поклонникъ Нарбутта; Нарбуттъ же, во всей мифологіи своей, сказалъ мало правды.

*Грунау*, нѣмецкій монахъ изъ Толкемигъ, *Стрыйковскій*, жмудскій каноникъ и *Ласиужскій*, протестантскій пасторъ изъ Лыкъ, въ хроникахъ своихъ, распространили о литовской мифологіи завѣдомо-ложныя свѣдѣнія и въ продолженіе трехъ вѣковъ держали ученый міръ въ заблужденіи. Нарбутта обвиняетъ новѣйшая исторія

въ томъ, что онъ не только не очистилъ критикою означенныя свѣдѣнія, но подобострастно повторилъ ихъ и даже поддержалъ разными (впрочемъ, весьма неудачными) доводами ту ложь, въ которой сами авторы иногда сомнѣвались. Поэтому профессоръ Мержинскій въ одномъ изъ писемъ къ автору настоящаго сочиненія говорить, что „какъ Грунау для нѣмецкихъ, такъ Нарбуттъ для польскихъ молодыхъ писателей были истиннымъ несчастьемъ“. Не говоря о Киркорѣ, Нарбуттъ погубилъ и Крашевскаго. Послѣдній, на зыбкомъ основаніи, т. е. на вѣрѣ въ Нарбутта, построилъ три прекрасныя поэмы: „Вителерауда“, „Мишовсь“ и „Витольдовы битвы“, носящія общее названіе „*Анафьеласъ*“, гора блаженства, рай. Поэмы эти потому именно, что онѣ прекрасны и написаны звучнымъ поэтическимъ языкомъ, и принесли неисчислимый вредъ: онѣ воспѣваютъ несуществовавшій литовскій Олимпъ. Весь образованный міръ, кому доступна поэзія Крашевскаго, увлекся ими, изучилъ ихъ и увѣровалъ въ существованіе боговъ, придуманныхъ досужими писателями. Вѣра эта, вмѣстѣ съ поэмами, переходитъ изъ поколѣнія въ поколѣніе и утверждаетъ въ умахъ превратныя понятія объ истинной сторонѣ дѣла, критическіе же разборы древненародныхъ вѣрованій, по недоступности и непопулярности ихъ, знакомы не всякому.

Храмъ или только алтарь богини *Мильды*, по обыкновенію, устраивался въ лѣсной глуши, какъ былъ устроенъ въ Ковнѣ, въ лѣсахъ *Алексоты*. Слѣдовательно, и на виленскомъ *Антоколт* могло быть избрано для ея алтаря (едва ли для храма?) то лѣсистое и уединенное мѣсто, которое занялъ въпослѣдствіи князь Сапѣга. Мѣсто же, на которомъ сооруженъ костель св. Петра, какъ открытое, болѣе близкое къ долину *Святорога*, къ храму Перкуна (*Ромнове*) и къ замку Гедимина, и тѣмъ болѣе, ежели правда, что оно находилось въ Гедимино-

вомъ саду, скорѣе пригодно было для сооруженія Пантеона всѣмъ богамъ.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что Пантеонъ существовалъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ костель св. Петра, а алтарь *Мильды*, гдѣ въ настоящее время военный госпиталь.

Костель этотъ построенъ, какъ сказано выше, Михайломъ-Казиміромъ *Пацомъ*, по уменьшенному образцу римскаго храма св. Петра. На фронтѣ его, подъ барельефнымъ бѣло-мраморнымъ образомъ Божіей Матери „Латеранской“ („*Lateranensae*“) сдѣлана надпись, перефразъ фамиліи Паца: „*Regina pacis funda nos in pace*“ (Царице міра, утверди насъ въ мирѣ). Ежегодно 29 іюня въ этомъ костелѣ бываетъ храмовой праздникъ, привлекающій много тысячъ народа, который, по окончаніи богослуженія, гуляетъ на окрестныхъ горахъ и съ пѣснями ищетъ цвѣтковъ „ключей св. Петра“ (*primula officinalis*). Но обычай этотъ совсѣмъ нехристіанской эры, а сохраняется со временъ язычества, такъ какъ и самая пѣсня обращается не къ св. Петру, а къ божку *Дидису*.

Продолженіемъ *долмы Святорога* и ея святынь, по тому же Балинскому (*стр. 113*), служило предмѣстье *Лукишки*, на которомъ находился лѣсъ, посвященный богамъ. Оно лежитъ на берегу р. Вилии и теперь изъ священнаго лѣса не осталось ни одного дерева. Названіе свое получило оно отъ литовскихъ словъ: *лаукасъ*—поле и *кишасъ*—смѣжный, пограничный; сначала эту мѣстность называли *Лаукай-кишасъ-уписъ*—поля, примыкающія къ рѣкѣ; а съ теченіемъ времени названіе преобразилось въ *Лукишки*. Стрыйковскій ошибочно производитъ это названіе отъ литовскаго будто бы слова *лаукосъ*—лѣсъ. Вѣроятно, эта часть города получила названіе *Лукишекъ* тогда, когда о священномъ лѣсѣ и помину уже не было. Теперь на Лукишкахъ самая боль-



шая торговая площадь и на сѣверной ея сторонѣ находятся костель и госпиталь св. Якова.

При Ягайтѣ и Ядвигѣ началось крещеніе литовскаго народа; всѣмъ крестившимся была раздаваема одежда изъ бѣлаго сукна. Тогда же торжественно погашень вѣчный огонь, вырублены священные лѣса, разрушено святилище *Пержуна* съ вѣчно-зеленымъ его дубомъ и на томъ же мѣстѣ приступлено къ сооруженію нынѣшняго каедральнаго костела св. Станислава (*Балин., ч. I-я, стр. 117*).

На томъ мѣстѣ, гдѣ теперь костель св. Іоанна, заложенный въ 1386 году, также была какая-то поганская сватыня. (*Тамъ же, стр. 114*).

О церкви св. *Параскевы-пятницы*, сооруженной на мѣстѣ капища бога *Рагутиса*, скажу послѣ.

На замковой горѣ былъ костель св. Мартина, построенный также на мѣстѣ какого-то языческаго храма, но онъ былъ разрушенъ и заброшенъ еще въ XVI-мъ столѣтіи. Упоминаетъ объ этомъ и Стрыйковскій, въ I-й ч., на стр. 479: „Теперь, какъ видимъ, обрушился и упалъ; только слѣды раскрашенной стѣны и развалины склеповъ замѣтны со стороны лысой горы“ („Крестовая гора“).

Другихъ церквей и костеловъ, воздвигнутыхъ не на развалинахъ языческихъ храмовъ, не касаемся здѣсь, потому что пишемъ не исторію виленскихъ христіанскихъ храмовъ.

О замковой виленской *горѣ* выписываю изъ Балинскаго (*прим. къ стр. 10*) еще слѣдующее:

„Полагаемъ, что замковая гора первоначально была небольшою возвышенностію въ цѣпи горъ, окружающихъ русло Виленки. Послѣдняя прежде впадала въ Вилію по сию сторону горы, но Гедиминъ, сооружая замокъ руками плѣнниковъ, захваченныхъ на Руси, прорылъ новое, существующее нынѣ, русло для Виленки, какъ для того, чтобы землю, отсюда добытую, употребить на под-

нятіе профиля замковой горы, такъ и для того, чтобы окружить водою самую гору, потому что въ тѣ времена старались окружать водою всѣ замки. На Подляси до нынѣ сохранилось воспоминаніе, что въ очень отдаленные отъ насъ вѣка народъ ходилъ оттуда въ Вильну копать горы. Догадка наша, что замковая гора въ значительной части ея не природная, а искусственная, подтверждается какъ самымъ видомъ и формою горы, такъ и позднѣйшею катастрофою съ нею, во времена Витольда“.

О катастрофѣ съ замковою горою извѣстно изъ сохраняющагося въ тайномъ кенигсбергскомъ архивѣ подлиннаго донесенія динабургскаго командора (комтура) къ великому магистру ливонскаго рыцарскаго ордена. Донесеніе адресовано изъ Ликсны, во вторую недѣлю по Воскресеніи Христовомъ, въ 1396 году. Комтуръ упоминаетъ объ обвалѣ горы какъ бы вскользь, между прочимъ, именно:

„Доносятъ мнѣ также, что гора, на которой лежитъ верхній замокъ, осунулась, по причинѣ *засухи*. Осыпалась она на дворецъ Моннивида и произвела тамъ большое разрушеніе; его подчашій и экономка засыпаны; засыпала гора и всѣ его драгоценности. Самъ также погибъ бы, если бы происшествіе случилось не днемъ. Но обвалилась только гора, а каменные стѣны остались въ цѣлости“.

Въ Вильнѣ есть часть города, называемая *Бажита*. Нарбуттъ, на стр. 232, говоритъ, что этимъ именемъ называлось укрѣпленіе или только замокъ, слѣды котораго остались еще у развалинъ древней городской стѣны, видимой на горѣ; мѣстность эта принадлежитъ больницѣ „Младенца Іисуса“.

Тутъ рѣчь идетъ о томъ первоначальномъ, до-историческомъ замкѣ, о которомъ было говорено выше.

„Подъ всею этою горою, пишетъ далѣ Нарбуттъ, идутъ длинныя подземныя галереи, выстроенныя изъ кирпича очень прочно, съ залами, комнатами, корридорами, которые тянутся различными изгибами и въ разныхъ направленихъ и конецъ ихъ не изслѣдованъ до настоящаго времени. Эти подземелья соединялись съ однимъ небольшимъ таинственнымъ капищемъ, находившимся въ самой Вакштѣ“.

Г. Ф. Ривіусъ находитъ солидарность между этими подземельями и такими же подземными ходами въ г. Трокахъ, отстоящихъ отъ Вильны въ 26 верстахъ. Онъ говоритъ:

„Троки, одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Литвы, назывался прежде Ghurgani. Городъ славился своими укрѣпленіями, храмами и превосходнѣйшими зданіями. Въ XIII столѣтїи между ними особенно отличалась святыня *Алтамба* (вѣроятно таинственнаго бога *Атлайбоса*), съ большими сооруженіями и подземельями, необходимыми для дивныхъ и неразгаданныхъ обрядовъ литовскаго язычества“.

Далѣ, Ривіусъ рассказываетъ подробно о томъ, какъ еще въ XI столѣтїи русскіе, распространяя власть свою въ Литвѣ, должны были построить крѣпость Троки, на мѣстѣ дер. Гургани, потому что тогда крѣпостей въ Литвѣ не было, а *Керновъ* не могъ считаться крѣпостью, но былъ только укрѣпленнымъ лагеремъ; какъ русскіе правители собирали съ литовцевъ, въ пользу кїевского князя, дань изъ лѣсныхъ произведеній (вѣниковъ и лыка); какъ Гедиминъ построилъ Новые Троки, послѣ разрушенія Старыхъ Трокъ, соединенными силами литовскихъ и тевтонскихъ рыцарей (*Schwerdt-Herren*), подъ начальствомъ прусскаго комтура *Готфрида*... (очевидное противорѣчіе Стрыйковскому) и продолжаетъ:

„Вильна и Троки составляли какъ бы одинъ городъ: виленцы въ Трокахъ и торочане въ Вильнѣ имѣли дома

и родственниковъ, вмѣстѣ соблюдали праздники и исполняли языческіе свои обряды. А какъ Вильна сдѣлалась столицею Литвы и пользовалась сравнительно лучшими преимуществами, по причинѣ сплавности ея рѣкъ, то, въ ущербъ Трокамъ, увеличило ростъ своего народонаселенія, такъ что впослѣдствіи Троки, еслибы не имѣли крѣпости и княжескихъ замковъ, могли бы считаться простою деревнею. При такомъ положеніи обоихъ городовъ и въ Вильнѣ сооруженъ храмъ *Алтамба*, празднества котораго совершались въ Трокахъ 8-го, а въ Вильнѣ 15-го сентября ежегодно. Празднества эти совершались съ какою то особенною обстановкою и торжественностію и потому привлекали множество народа изъ Литвы, Жмуди, Пруссіи, Курляндіи и Руси, причѣмъ происходили ярмарки съ мѣноюю торговлею и разныя религіозныя процессіи изъ одного города въ другой“.

Нарбуттъ, подтверждая существованіе капищъ *таинственнаго бога Атлайбоса*, какъ въ Вильнѣ, такъ и въ Трокахъ, съ одинаковыми въ обоихъ городахъ подземными ходами, предоставляетъ будущимъ археологамъ изслѣдовать подземелья подъ Бакштою и трокскимъ замкомъ, причѣмъ, быть можетъ, откроются и самыя капища и узнаются хотя отчасти тайны бога *Атлайбоса* или *Алтамба* (*Нарб. I, стр. 235*).

Киркоръ въ „Матеріалахъ для Археологическаго словаря“ (Древности). Вып. 2. Москва, 1867, стр. 28, называетъ капище этого бога *Атламбой* (стало быть, не *Алтамба* и не *Атлайбосъ*) и описываетъ подземелье со словъ хроники *Ротунда*, приводимой будто бы Нарбуттомъ; но Нарбуттъ основывается, какъ видѣли мы выше, не на хроникѣ *Ротунда*, а на запискахъ *Г. Ф. Ривіуса*. Между тѣмъ, ни Ривіусъ, ни Нарбуттъ, ни Киркоръ не умѣли не только объяснить значеніе этого божества, но даже и назвать его правильно, а потому выбрали самый легкій исходъ: причислить его,

такъ же какъ и нѣсколько другихъ непонятныхъ имъ боговъ и даже просто названій, не имѣющихъ смысла, къ числу *тайнственныхъ божествъ*. Киркоръ говоритъ далѣе, что народное преданіе и до сихъ поръ приписываетъ много тайнственнаго этому подземелью, которое простиралось будто бы до Трокъ. Легенда говоритъ, что тамъ жили злые духи, увлекавшіе непостижимою силою людей въ это подземелье, гдѣ они и погибали. Иванъ Скворонскій, описывая пожаръ Вильны 1610 года, рассказываетъ извѣстную сказку о *Василискѣ*, который будто бы жилъ въ этомъ подземельи и взглядомъ своимъ убивалъ людей, входившихъ туда; но нашелся одинъ смѣлый человѣкъ, который вошелъ туда, неся предъ собою большое зеркало; чудовище, какъ только увидало себя въ немъ, было поражено собственнымъ взглядомъ, отражаемымъ въ зеркалѣ, и издохло. Въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣтій здѣсь скрывались разбойники, которые нападали на прохожихъ и грабили ихъ. Подземельемъ этимъ еще въ 1812 году можно было пройти съ полверсты. Входъ въ подземелье, на глухо заложенный, существуетъ до сихъ поръ.

Нарбуттъ правъ, говоря, что не мѣшало бы археологическому обществу заняться, для пользы науки, изслѣдованіемъ этого подземелья.

Но и замковая гора также имѣетъ неизслѣдованныя до нынѣ подземелья. Тотъ же Киркоръ, въ „Запискахъ Имп. археол. общ.“ т. VII, Спб., 1856, на стр. 104, говоритъ о замковой горѣ слѣдующее, и мы не имѣемъ повода ему не довѣрять:

„Гедиминъ, одновременно съ основаніемъ виленскихъ замковъ, соорудилъ на горѣ и какой то языческой храмъ. При Ольгердѣ, одна изъ благочестивыхъ супругъ его устроила тамъ же православную часовню, а Ягайло, принявъ католическую вѣру въ Краковѣ, на развалинахъ древняго языческаго храма воздвигъ костель св. Мар-

тина. Замковая гора имѣла подземный ходъ, устроенный въ родѣ лѣстницы со ступеньками, который велъ на востокъ къ рѣчкѣ Виленкѣ. Великій князь литовскій Явнутъ (1339), сынъ Гедимина, послѣ смерти матери своей Евы, когда на него напали братья его Ольгердъ и Кейстутъ и овладѣли замками, бѣжалъ этимъ потаеннымъ ходомъ на *Антоколъ*. Въ это подземелье, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, случайно открылось на самой замковой горѣ отверстіе. Находившійся при этомъ одинъ изъ инженерныхъ офицеровъ спустился въ обвалъ чело-вѣка на ремняхъ, но онъ не могъ выдержать удручающаго воздуха и его тотчасъ вытащили; тоже было и съ другимъ; наконецъ, третій, пошаривъ вокругъ себя, началъ выбрасывать на верхъ разныя вещицы; ихъ было пять. Киркоръ поименовываетъ эти вещицы и считаетъ ихъ литовскими идолами; при разсмотрѣніи же этихъ „идоловъ“ на кievскомъ археологическомъ съѣздѣ, Мѣржинскій, Головацкій и др. признали ихъ ручками отъ дверей, ефесами отъ шпагъ, римскаго издѣлія.

Отверстіе было зарыто, вещи остались у инженера, а по смерти его пріобрѣтены мною.“

Восточная часть замковой горы была мѣстомъ погребенія великихъ князей литовскихъ.

## XII.

# ГЕДИМИНОВА ГОРА

въ Вильнѣ.

---

О городищѣ *Веллонъ* Нарбуттъ, на стр. 56 части 1-й Литовской исторіи, говоритъ:

„Богиня *Веллона* имѣла извѣстное (?) свое святилище (храмъ) въ городкѣ, донинѣ называемомъ Веллоною. Теперь это незначительное мѣстечко и находится на правомъ берегу р. Нѣмана, въ 5-ти миляхъ отъ Юрбурга. Въ древности тамъ была сильная крѣпость, построенная на горѣ и раздѣленная на два городища широкимъ ровомъ. Въ этой то крѣпости и было капище *Веллоны*.

Въ началѣ XIV столѣтія меченосцы атаковали крѣпость и когда взять ее не могли, то возвели противъ нея два укрѣпленія: *Фридбургъ* и *Баернъ*, послѣднее въ честь князя Баварскаго, принимавшаго участіе въ атакѣ. Великій князь Гедиминъ, въ 1329 (?) году, при штурмѣ одного изъ этихъ замковъ, былъ убитъ выстрѣломъ изъ какого-то огнестрѣльнаго оружія. Тѣло его было сожжено въ Вильнѣ, куда онъ перенесъ столицу свою изъ Трокъ въ 1322 году“.

Очевидно, Нарбуттъ годъ смерти Гедими́на основываетъ на Стрыйковскомъ, который успѣвшиль убить Гедими́на въ 1329 году, тогда какъ онъ появляется на сценѣ далеко позднѣе.

М. Балинскій, въ 1-й части „Исторіи города Вильны“, стр. 19, говоритъ, что Гедиминъ убитъ подь замкомъ Ваербургомъ, въ одной милѣ отъ Веллоны, въ 1337 году, стало бытъ 8-ю годами позже. Киркоръ, въ „Историческомъ путеводителѣ по Вильнѣ“ (Вильна, 1880, стр. 272), говоря о виленской „Гедиминовой могилѣ“, свидѣтельствуеетъ также, что Гедиминъ убитъ въ битвѣ съ меченосцами подь Веллоною въ 1337 году и присовокупляетъ: „Дѣйствительно ли тѣло Гедими́на привезено въ Вильну и здѣсь предано погребенію, исторія молчитъ; но пяти-вѣковое преданіе говоритъ громче исторіи; вѣра же въ то, что Гедиминъ погребенъ именно въ этой могилѣ, переходитъ изъ поколѣнія въ поколѣніе“.

Въ другомъ мѣстѣ, именно въ „Матеріалахъ для археологическаго словаря“ (*Древности. Труды моск. археол. общ. Т. I, вып. 2, Москва, 1867, стр. 35*), Киркоръ говоритъ: „Гедиминовыя горы двѣ: одна въ Вильнѣ, а другая подь Веллоною. Виленскую гору называютъ *могилою Гедими́на* и старинные писатели. Въ одной рукописи XV столѣтія, подь заглавіемъ: „De Veteribus Tumulis vulgo kurhani num Kupatis“ описано преданіе объ этой могилѣ. Д. Наборовскій, въ посланіи къ князю Янушу Радзивиллу, 18 сентября 1729 года, говоритъ тоже про *Гедиминову гору*. Стрыйковскій, хотя и ошибается относительно года смерти Гедими́на, доказываетъ, однако, что прахъ этого государя, послѣ смерти въ битвѣ при Веллонѣ, былъ привезенъ въ г. Вильну и сожженъ въ долинѣ Свинторога (нынѣшняя Кааедральная площадь), вмѣстѣ съ тремя взятыми въ плѣнъ рыцарями и что сыновья заблаговременно приго-



товили ему мѣсто вѣчнаго упокоенія. Въ Веллонѣ же и окрестныхъ мѣстахъ народное преданіе оспариваетъ прахъ Гедимина, утверждая, что онъ сожженъ на мѣстѣ убіенія, т. е. въ Веллонѣ. Кажется, вопросъ легко разрѣшается, допустивъ мысль, что на мѣстѣ убіенія великаго князя, въ память его, былъ насыпанъ курганъ, сохранившій доселѣ его имя; что прахъ его дѣйствительно былъ привезенъ въ основанную имъ столицу, сожженъ на долинѣ, избранной для этой цѣли княземъ Свинторогомъ за 69 лѣтъ предъ тѣмъ и что, по современному тогдашнему обычаю, надъ прахомъ его насыпанъ большой курганъ. На вершинѣ кургана находится донынѣ небольшая круглая площадка, съ замѣтнымъ посрединѣ углубленіемъ“.

Крашевскій, хотя еще менѣе могущій считаться авторитетомъ, нежели Киркоръ, какъ раболѣпно повторяющій Стрыйковскаго и Нарбутта, также говоритъ въ „Исторія Вильны“ (ч. I, стр. 32), что съ тѣломъ Гедимина въ Вильнѣ, въ долинѣ Свинторога, сожжены живьемъ три плѣнные рыцаря, верхомъ на коняхъ, въ полномъ боевомъ вооруженіи.

Стало бытъ, это шестой авторъ утверждаетъ фактъ погребенія Гедимина въ Вильнѣ.

Но мы еще возвратимся къ вопросу, гдѣ именно находится могила Гедимина: въ Вильнѣ или въ Веллонѣ? Теперь же займемся другимъ не менѣе важнымъ вопросомъ: дѣйствительно ли Гедиминъ погибъ въ 1337 году отъ огнестрѣльнаго оружія?

Длугошъ (кн. IX, стр. 923) говоритъ, что Гедиминъ погибъ въ 1337 году, подъ замкомъ Баербургомъ, отъ „огненной стрѣлы“. Но „Оливскіе анналы“ (Annales Oliv., стр. 48), на которые указываетъ Валинскій на стр. 108 своего сочиненія, доказываютъ, что Гедимина поразилъ стрѣлокъ *Марианъ* пулею изъ бомбарды, только

что изобрѣтенной нѣмцами и Литвѣ еще неизвѣстной. Балинскій, однако, говорить объ этомъ событіи иначе: „Къ концу осады Гедиминомъ замка Баербурга, продолжавшейся 22 дня, великій магистръ Генрихъ *Десенеръ*, съ рейнскимъ палатиномъ, во главѣ огромной силы, пришелъ для отраженія Гедимина, который, въ мужественной защитѣ, палъ, пораженный выстрѣломъ начальника стрѣлковъ рыцаря Тилемана *Зунпаха*. Онъ получилъ между шею и лопаткою смертельную рану, отъ которой скорѣ умеръ, а войско его разбито и разсѣяно“. Въ примѣчаніи къ этому сказанію Балинскій присовокупляетъ: „Извѣстно изъ исторіи, что англичане первые начали употреблять огнестрѣльное оружіе 26 августа 1346 года (позднѣ смерти Гедимина), при Кресси, поражая такъ называемыми *бомбардами* французскую армію. Это былъ извѣстный родъ пушекъ или орудій, возимыхъ на колесахъ. Пушки эти, извергая изъ себя, съ огнемъ и ужаснымъ громомъ, небольшіе желѣзные шарики, служили преимущественно для переполоха лошадей. См. Giovanni Villani Storia Fiorent. Lib. XII, стр. 947 и 948. Англійскіе рыцари, присоединяясь неоднократно къ меченосцамъ, для участія въ крестовыхъ походахъ противъ язычниковъ литовскихъ, могли еще нѣсколько лѣтъ раньше передать тевтонцамъ изобрѣтеніе означенныхъ бомбардъ, и потому Гедиминъ могъ отъ нихъ погибнуть“.

Трудно, однако же, съ этимъ согласиться. Коль скоро сами англичане употребили въ первый разъ въ дѣло бомбарды только въ 1346 году, то сомнительно, чтобы они не держали изобрѣтенія своего въ секретѣ и 9-ю годами ранѣ передали его меченосцамъ.

Наконецъ, если вѣрить *Густинской лѣтописи*, повторявшей всякія нелѣпости Стрыйковскаго, она, ссылаясь на свидѣтельство Кромера и Гваньини, заявляетъ на стр. 351:

„Въ лѣто 6886 (1348) стрѣльбу огнистую и дѣла спижовые (пушки бронзовыя, съ польскаго *dziada spiżowe*) нѣмецъ въ Венеціи изобрѣте“.

Стало быть, еще позднѣе смерти Гедимина, 11-ю годами.

Такимъ образомъ, вопросъ, отъ какого оружія погибъ Гедиминъ, остается открытымъ:

Но возвратимся къ *могиль Гедимина*.

Нарбуттъ, на стр. 57, пишетъ:

„Позднѣе, по Бартенштейнскому миру 17 сентября 1331 (?) года оба замка (Фридбургъ и Баернъ) снесены; но въ 1364 году меченосцы сожгли Веллону и крѣпость разрушили. Князь Кейстутъ, однако, успѣлъ возобновить Веллону и возвести укрѣпленія, причемъ возобновлена и святыня богини, существовавшая до 1406 года, когда меченосцы вторично овладѣли Веллоною и капище перестроили въ христіанскій храмъ. Съ тѣхъ поръ на башнѣ его до настоящаго времени красуется крестъ. Въ 1414 году князь Витольдъ овладѣлъ этимъ краемъ и жилъ въ веллонскомъ замкѣ, учредилъ веллонское хорунжество или уѣздъ и увеличилъ церковные доходы. Въ царствованіе Сигизмунда-Августа настоятель этого костела, нѣкій ксендзь *Роговскій*, перешелъ въ протестантство и костель долго принадлежалъ реформатско-евангелическому исповѣданію и только при Сигизмундѣ III, стараніями іезуитовъ, возвращенъ католикамъ. Этотъ краткій историческій очеркъ основанъ мною на мѣстномъ изслѣдованіи, на свидѣтельствѣ людей, знавшихъ тамошнія дѣла, и на церковныхъ документахъ, сообщенныхъ мнѣ настоятелемъ веллонскаго костела въ 1805 году. Тогда же я открылъ на внутренней стѣнѣ церкви каменную плиту, на которой, не смотря на уничтоженныя временемъ слова, можно еще было разобрать слѣдующую надпись:

„Д. О. М.

Veritatis. unoq. Vivo. Et. San.<sup>o</sup> Hoc. In Loco, Ubi.  
Antiquus.<sup>s</sup> Cultus. Wellone. Aeternitas.<sup>s</sup> Deae. Fuit.  
Don.... Nihil... O... Prim... sac . . . . .  
. . . . . Ro . . . . .

„Это былъ памятникъ сооруженія христіанскаго храма на развалинахъ капища богини *Веллоны*“.

Но вотъ что пишетъ объ этомъ Балинскій въ „Исторіи Вильны“, ч. I, стр. 105:

„*Веллоны* (Wielona) въ древности была укрѣпленнымъ замкомъ, построеннымъ, вѣроятно, въ XIII столѣтіи для обороны жмудской границы отъ нападений меченосцевъ и извѣстнымъ постоянными войнами Гедимина съ этими рыцарями, нынѣ мѣстечко на берегу Нѣмана, въ 7 миляхъ отъ Ковны и въ полумилѣ отъ Юрбургга (Jurborgka). Оно дѣлится на двѣ части, верхнее и нижнее; въ первомъ находится большой каменный, готическаго стиля, костель, котораго алтарная половина, т. е. Sanctuarium, носить слѣды древности и кажется (?) относится ко временамъ язычества. Первоначальная постройка христіанскаго храма приписывается Витольду (Вотовду) и это первый костель по введеніи въ Литву католицизма“.

Значить, Балинскій не раздѣляетъ мнѣнія Нарбутта о существованіи капища богини *Веллоны* и о самой богинѣ во всемъ сочиненіи своемъ не упоминаетъ ни однимъ словомъ.

„Прежній замокъ, продолжаетъ Балинскій, былъ построенъ надъ самымъ Нѣманомъ, на двухъ холмахъ, соединенныхъ между собою мостомъ, перекинутымъ чрезъ глубокое ущелье. На одномъ изъ этихъ холмовъ высится упомянутый костель и за нимъ лежитъ нагорная часть мѣстечка; на другомъ холмѣ находились замковые сады

и огороды. Развалины разныхъ построекъ покрываютъ весь садовый холмъ, но отъ замка не осталось ни малѣйшихъ слѣдовъ, хотя онъ и былъ каменный. Рядомъ съ замковымъ холмомъ, съ восточной стороны, воздвигается еще одинъ коническій холмъ, называемый „*горой Гедимины*“; на вершинѣ этого конуса находится курганъ, т. е. насыпь, также конической формы, у подошвы которой видна глубокая яма, какъ будто образовавшаяся отъ выемки земли для насыпи кургана. Небольшая рѣчка *Веллонка*, окружая съ сѣверной стороны замковую и *Гедиминову горы*, впадаетъ въ Нѣманъ. Названіе свое *Гедиминова гора* получила въ древности и сохраняетъ донынѣ; курганъ же на ней, будучи дѣйствительно могилою, кажется, несомнѣнно убѣждаетъ, что это и есть могила *Гедимины*, павшаго подъ стѣнами принадлежавшаго меченосцамъ замка Баербурга, недалеко отъ Веллоны.

Хотя Стрыйковскій и увѣряетъ, что тѣло Гедимины привезено въ Вильну и предано торжественно сожженію, однако же, мѣстные преданія, въ связи съ существованіемъ упомянутой могилы на *Гедиминовой горѣ*, видимой до сихъ поръ, заставляютъ заключить, что Гедиминъ скорѣе погребенъ въ Веллонѣ, нежели въ Вильнѣ“.

Странно, что Нарбуттъ, собирая на мѣстѣ разные преданія о капищѣ *Веллоны*, не нашелъ нужнымъ прислушаться къ преданіямъ о могилѣ *Гедимины*! Мало того, онъ какъ будто ничего не знаетъ и никогда даже не слышалъ о ней, потому что нигдѣ не говоритъ о веллонской могилѣ ни слова. Между тѣмъ, разслѣдованіемъ этимъ онъ могъ бы выяснитъ, гдѣ именно погребенъ Гедиминъ, въ Вильнѣ или въ Веллонѣ?

Извѣстно, что въ древности въ честь павшихъ героевъ насыпались огромные холмы или могилы, хотя бы герой и не былъ погребенъ въ этой могилѣ. На ви-

ленской *Гедиминовой горы* такъ же, какъ и на веллонской, насыпана могила въ формѣ продолговатаго вала, тщательно отдѣланная и сохраняющаяся во всѣхъ ея деталяхъ до нашихъ дней. Это самая высокая и живописная гора изъ всѣхъ Антокольскихъ горъ, составляющихъ отроги Понарескихъ. Находится она при самой Вильнѣ, на пути отъ костела св. Петра на Зарѣчье, съ правой стороны дороги. Съ нея лучшій видъ на панораму Вильны.

Спрашивается: насыпана ли виленская могила только въ честь Гедимины, а самый прахъ его погребенъ въ Веллонѣ, или наоборотъ: въ Веллонѣ насыпанъ холмъ въ память убіенія въ тѣхъ мѣстахъ героя, а прахъ его почіеть на виленской *Гедиминовой горы*?

Кажется, въ этомъ случаѣ Балинскій не правъ и сказаніе Стрыйковскаго и его послѣдователей заслуживаетъ больше вѣроятія, во-первыхъ, потому, что желаніе быть погребеннымъ на родинѣ, на мѣстѣ погребенія предковъ, свойственно каждому человѣку и современно человѣчеству, для чего и донинѣ тѣла зажиточныхъ людей перевозятся даже изъ-за океана, а Вильна была родиною Гедимины, собственными его руками основанною, и во-вторыхъ, потому, что *долина Свинторога* считалась долиною священной, на которой сжигались тѣла его славныхъ предковъ; лишать же великаго своего князя и отца чести быть сожженнымъ на той же священной долинѣ едва ли согласились бы и сыновья его, и народъ.

Одно можетъ показаться страннымъ, почему о перенесеніи тѣла князя изъ Веллоны въ Вильну, вѣроятно въ торжественномъ шествіи, при повсемѣстномъ плачѣ народа и почестяхъ, воздаваемыхъ великому праху, не упоминаетъ ни одинъ историкъ? Съ другой стороны, нѣтъ никакого ручательства, чтобы останки Гедимины

не были перевезены тайно, изъ-за какихъ нибудь политическихъ соображеній, допустимъ хоть для отклоненія, въ такое печальное для отечества время, народного унынія и всякихъ манифестацій по пути слѣдованія печальнаго кортежа.

Такимъ образомъ, скорѣе въ Веллонѣ насыпанъ курганъ въ память убіенія тамъ Гедимина, нежели въ Вильнѣ; а въ послѣдней воздвигнуть не памятный курганъ, а насыпана могила надъ прахомъ героя и называется справедливо *Могилою Гедимина*.



### XIII.

## АЛЦИСЪ.

Легендарный богатырь въ гербѣ города Вильны.

Старинная печать города Вильны.



Алцисъ, легендарный богатырь, съ женою на плечахъ.  
Въ христіанскую эру св. Христофоръ, съ Младенцемъ Исусомъ.

Весьма интересенъ споръ историковъ города Вильны о древнемъ ея гербѣ. Происхожденіе его слѣдующее:

Жиль-быль въ Литвѣ богатырь, исполинъ (копія Алкида, Геркулеса), по имени *Алцисъ*, которому буквально



было „море по колѣна“ и къ которому можно примѣнить гиперболу Державина:

„Ступить на горы—горы трещать,  
Ляжетъ на море—бездны кипятъ,  
Граду коснется—градъ упадетъ,  
Башни рукою за облакъ бросаетъ“.

И дѣйствительно, онъ разрушалъ цѣлые города, раздроблялъ камнями въ щелы корабли, топталъ ногами непріятельскія арміи, вырывалъ съ корнями огромные деревья и разгуливалъ съ ними, какъ съ тросточками. Въ то же время онъ былъ и благодѣтельнымъ великаномъ, отличался своимъ человѣколюбіемъ и справедливостію. Легенда говоритъ, что онъ встрѣтилъ у подошвы одной горы страшное чудовище, *Дидалиса*, съ которымъ вступилъ въ бой, убилъ его и овладѣлъ громадными сокровищами, накопленными чудовищемъ въ пещерѣ этой горы. Киркоръ („*Древности*“, Вып. 2. Москва. 1867; стр. 21) говоритъ, будто этотъ баснословный богатырь случайно забрелъ въ пещеру (?) Дидалиса; но забываетъ, что такой гигантъ, которому „море по колѣна“, не помѣстился бы ни въ какой пещерѣ. Всѣ добытыя Алцисомъ сокровища онъ отдалъ одному царьку за дочь его *Дутериту*, которая понравилась ему за свою богатырскую силу. Она была хотя и обыкновеннаго роста, но обладала такою силою, что, схвативъ быка за рога, перебрасывала его чрезъ себя, какъ мячикъ. Алцисъ страстно любилъ свою жену (не смотря на физическое различіе?) и всегда носилъ ее на плечахъ; а она расчесывала ему волосы и бороду гребешкомъ, величиною въ крыло вѣтряной мельницы. Онъ велъ бродячую жизнь и какія бы воды ни переходилъ, вода едва доходила ему до колѣнъ.

Должно быть легенда объ этомъ сказочномъ богатырѣ была очень популярна въ Литвѣ, и особенно въ

Вильнѣ, когда Гедиминъ пожаловалъ городу Вильнѣ гербъ, съ изображеніемъ Алциса. Вотъ что пишетъ объ этомъ Киркоръ (*l. c.*):

„Въ 1330 году Гедиминъ далъ городу Вильнѣ гербъ. На этомъ гербѣ мы видимъ всѣ признаки Алциса: въ рукѣ у него, вмѣсто посоха, вырванное съ корнемъ дерево; вода, на которой видѣнъ вблизи корабль, не доходить ему до колѣнъ. Сидящій на плечахъ ребенокъ не кто иной, какъ жена его. Такое изображеніе Алциса видимъ на печатяхъ виленскаго магдебургскаго магистрата еще въ XVI столѣтіи. Вокругъ этой печати имѣется надпись: „*Sigillum Civitatis Vilmensis. Annus VII. Urbe condito institutum*“, и внизу инициалы: *MR*, подъ крестомъ. Съ введеніемъ христіанства, Алцисъ преобразился въ *Христофора*, также изображаемаго несущимъ ребенка (т. е. Младенца Иисуса) на плечахъ, переходящимъ воду, съ большимъ деревомъ въ рукѣ, вмѣсто посоха. Впослѣдствіи на гербѣ появился и крестъ. Это преобразование, оспариваемое нѣкоторыми историками, не можетъ насъ удивлять, если вспомнимъ, сколько подобныхъ превращеній, по необходимости, было допускаемо христіанскимъ духовенствомъ въ первое время по уничтоженіи язычества“.

Нарбуттъ, въ 1 части „Исторіи Литовскаго народа“ на стр. 162, говоритъ:

„На древнемъ гербѣ города Вильны изображался св. Христофоръ (*Christophorus*—Христоносецъ). Трудно доискиваться, когда и кѣмъ былъ пожалованъ городу этотъ гербъ? (А Гедиминъ?). Въ виленскихъ переквяхъ не было ни алтаря, ни придѣла, ни даже праздника во имя этого святаго, для доказательства патроната его надъ городомъ. Такое безпричинное для насъ помѣщеніе св. Христофора въ виленскомъ гербѣ наводитъ на мысль, не былъ ли въ самомъ началѣ гербомъ города

Вильны легендарный гигантъ Алцисъ, котораго потомъ христіанскій пуританизмъ замѣнилъ Христофоромъ?“

На стр. 408 той же части Нарбуттъ возвращается къ этому предмету слѣдующими словами:

„*Древній гербъ города Вильны.* Это простое изображеніе Алциса, о которомъ говорили мы прежде. Гигантъ идетъ вбродъ чрезъ какую-то воду, подпираясь деревомъ и неся на плечахъ маленькую человѣческую фигурку. Вокругъ герба имѣется надпись: „*Sigillum Civit. Vilm. Ann. VII. Urb. cond. inst.*“ Снизу инициалы *MR* и крестъ, безъ сомнѣнія, относились къ тому бургомистру (?), во время котораго была вырѣзана и приложена печать къ имѣющемуся у меня документу 1548 года. Документъ этотъ, писанный по латыни, въ праздникъ св. Лаврентія (*in festo S. Laurentii*) и подписанный членами виленской городской ратуши, есть грамота, дарующая прусскому подданному Августу Ротенбаху права гражданства города Вильны. Писана она на прекрасной, гладкой и толстой бумагѣ, тряпичнаго издѣлія; печать оттиснута на самой бумагѣ, тщательно, посредствомъ прессы; надпись вокругъ очень разборчива и ясно свидѣтельствуешь о времени учрежденія (?) герба, т. е. въ 1325 году, слѣдовательно, во времена язычества. Это утверждаетъ насъ въ предположеніи, что гигантъ Алцисъ, съ теченіемъ времени, преобразованъ въ Христофора“.

Изъ этихъ цитатъ слѣдуетъ заключить, что ни Киркоръ, ни Нарбуттъ не знали о существованіи придуманной, вѣроятно іезуитами, христіанской легенды, пришитой на-скоро, бѣлыми нитками, къ легендѣ объ Алцисѣ. Для приданія большей вѣроятности существованію—не *Алциса*, а *Христофора*, даже имя Алциса замѣнено какимъ-то *Офѣрусомъ*, совсѣмъ не литовскимъ, но вѣроятно происходящимъ отъ слова *ofaru*—жертва (если только не *афера!*). Легенда эта появилась въ сборникѣ Луціана *Сьмтньскаго*, подъ заглавіемъ: „Преданія

и легенды польскія, русскія и литовскія“ („Podania i legendy polskie, russkie i litewskie“. Познань. 1845). Въ сборникѣ этомъ мало старинныхъ литовско-языческихъ преданій; большая же часть книги состоитъ изъ мистическихъ разсказовъ христіанскаго культа и даже не изъ очень отдаленныхъ временъ. Приводя легенду о Христофорѣ, ксендзъ Сѣмѣньскій самъ сознается, что она взята не изъ народнаго творчества, а навязана народу—и вотъ что говоритъ на стр. 27:

„Хотя преданіе (?) это и не есть плодомъ воображенія нашего народа, не менѣе того, однакоже, оно сдѣлалось его собственностію (?), вмѣстѣ съ другими легендами, которыя въ среднихъ вѣкахъ перешли къ намъ изъ Нѣмечины. Оно сдѣлалось популярнымъ въ народѣ (?), точно такъ же, какъ и статуи св. Христофора, которыя встрѣчаются на домахъ въ Краковѣ, Казимѣржѣ и др. Есть даже старая пѣсня о Христофорѣ, которую приводитъ Лелевель. Въ среднихъ вѣкахъ жило повѣрье, что каждый, кто видѣлъ изображеніе св. Христофора, сподобится мирной кончины. Отсюда возникла и латинская пословица:

„Christophorum videas, postea tutus cas“.

Легенда гласитъ такъ:

Давно, очень давно когда-то былъ на свѣтѣ извѣстный великанъ, по имени *Оферусъ* (по-польски *Oferusz*). Это былъ человекъ такого огромнаго роста, что въ большомъ пальцѣ своей рукавицы устроилъ свадьбу сестры; а когда умерла его мать, то онъ, желая насыпать надъ нею могильный курганъ, набралъ въ свой сапогъ земли и высыпалъ ее надъ тѣломъ матери, отчего образовалась гора до самыхъ облаковъ; на томъ же мѣстѣ, гдѣ гигантъ бралъ землю, сдѣлалась пропасть на столько миль глубины, на сколько вновь насыпанная гора имѣла вышины. Надъ этою пропастью сѣлъ Оферусъ и началъ

горько оплакивать мать; слезы его стекли въ бездну и образовали собою море. Отъ того морская вода солонa и горька. Потомъ Оферусъ пошелъ путешествовать, съ тѣмъ, чтобы отыскать самаго сильнаго и могущественнаго человѣка на свѣтѣ и поступить къ нему на службу. Вотъ ему и посовѣтовали, чтобы онъ шелъ къ одному извѣстному царю, который не зналъ никого выше себя и въ жизни своей не былъ знакомъ со страхомъ.

Прибывъ къ нему, Оферусъ встрѣтилъ весьма радушный пріемъ и былъ при царѣ самымъ довѣреннымъ лицомъ. Онъ предполагалъ остаться при немъ всю жизнь; но однажды случилось, что одинъ изъ служителей произнесъ слово *чорта* въ присутствіи царя, который при этомъ перекрестился.

— Что ты дѣлаешь? спросилъ царя великанъ, бывшій еще язычникомъ, не понимавшимъ христіанскихъ обычаевъ.

— Крещусь, потому что боюсь чорта.

— Боишься? Значитъ ты слабѣе его и есть кто-то посильнѣе тебя! Въ такомъ случаѣ, прощай! Пойду искать его.

Съ этимъ Оферусъ ушелъ въ пустыню, гдѣ встрѣтилъ цѣлый легіонъ черныхъ рыцарей, съ рогами на головахъ и съ когтями на рукахъ, въ которыхъ держали трезубцы. Въ срединѣ между ними сидѣлъ самый черный и самый страшный голова ихъ, на тронѣ изъ людскихъ череповъ и костей.

— Оферусъ! заревѣлъ онъ: кого ищешь?

— Ищу *чорта*, чтобы служить у него.

— Я самъ чортъ и есть, рявкнулъ бѣсъ и протянулъ къ нему руку.

Оферусъ началъ служить усердно чорту, не отставалъ отъ него и былъ правою его рукою.

Случилось, что черти предприняли какую-то экспедицію и отправились въ нее цѣлымъ стадомъ. Дойдя до

перекрестка, черти увидали на немъ распятіе—и поворотили назадъ.

— Что это значить? спросилъ Оферусъ.

— То, что я боюсь Христа! отвѣтилъ набольшій чертъ.

— Боишься? Значить ты слабѣе его и есть кто-то посильнѣе тебя! Въ такомъ случаѣ, прощай! Пойду искать его.

Разставшись съ чертями, великанъ пошелъ опять бродить по пустынь.

— Гдѣ Христосъ? спросилъ онъ у встрѣтившагося ему пустытника.

— Вездѣ, „яко вездѣ сый“! отвѣчалъ пустытникъ.

— Скажи же, какъ я могу служить ему?

— Молись и трудись, тогда обратишь Христа.

— Молиться я не умѣю, а трудиться готовъ. Скажи, что дѣлать мнѣ!

Пустытникъ привелъ его къ рѣкѣ, низвергающейя съ горы.

— Чрезъ эту рѣку—сказалъ онъ—никто переправиться не можетъ и тонетъ на срединѣ ея. Тебѣ Богъ далъ силу и великій ростъ. Перенеси путешественниковъ на другую сторону. Ежели будешь дѣлать это во имя Христа, Онъ приметъ тебя въ число слугъ своихъ.

— Буду дѣлать это, Христовой любви ради.

И исполнивъ началъ день и ночь переносить на себѣ путниковъ на другую сторону рѣки, подпираясь сосною, которую вырвалъ съ корнемъ.

Однажды онъ, утомленный дневными трудами, крѣпко уснулъ. Вдругъ, слышитъ дѣтскій голосъ, трижды проносящій его имя. Великанъ вскочилъ и, увидя предъ собою ребенка, вскинулъ его къ себѣ на плечи и вошелъ въ воду. Вдругъ вода начала бурлить и подниматься. Оферусъ въ первый разъ въ жизни почувствовалъ тяжесть, подъ которою началъ изгибаться и сердце его

переполнилось неизвѣстнымъ ему дотоѣ страхомъ. Онъ поднималъ глаза вверхъ и спросилъ:

— Дитя, дитя! Почему ты такое тяжелое? Мнѣ кажется, будто я цѣлый свѣтъ несу на своихъ плечахъ.

— Ты не ошибаешься! отвѣчало дитя: не только цѣлый свѣтъ, но и того, кто создалъ его. Я Христось, которому ты служишь. Крещая тебя, во имя Отца, мое и Святаго Духа! Отнынѣ ты будешь называться *Христофоромъ*, цѣступомъ (?... всего только перевозчикомъ!) Христовымъ!

Съ тѣхъ поръ Христофоръ сталъ ходить по свѣту и распространять ученіе Христово, за что язычники и побили его камнями (!?).

~~~~~

Вотъ что называется соблюсти всѣ интересы! И великанъ съ сосною сохраненъ, и объяснено, кто была человѣческая фигура на его плечахъ. Только зачѣмъ понадобилось автору преобразовать Христа въ младенца, когда дѣло происходило уже во времена христіанства и появленія распятій на перекресткахъ и когда на плечахъ великана и взрослый человѣкъ казался бы ребенкомъ—это его тайна. Тутъ авторъ въ прямомъ выигрышѣ: уничтожая сказочнаго, никогда не существовавшаго Алциса, онъ создаетъ Оферуса и заставляетъ вѣрить, что онъ былъ лицомъ не мифическимъ, но живымъ, настоящимъ и слѣдовательно могущимъ устраивать свадьбы въ пальцѣ своей рукавицы и въ одномъ сапогѣ переносить подоблачныя горы. Спрашивается только: какимъ же образомъ язычники ухитрились побить камнями такого гиганта, который однимъ сапогомъ земли могъ самихъ ихъ засыпать цѣлые десятки тысячъ?..

Значить, для фанатизированія народа не всегда нуженъ здравый смыслъ!

Но М. Балинскій („Исторія г. Вильны“. Вильна. 1836) категорически отвергаетъ существованіе герба съ изображеніемъ Алциса и въ ч. II, на стр. 98, говоритъ:

„Городъ Вильна съ давнихъ поръ имѣлъ гербъ съ св. Христофоромъ (?) на красномъ полѣ. Въ привиллегиі Сигизмунда-Августа, данной городу Вильнѣ въ 1548 году, между прочимъ, говорится:

„In publicis vero Officii civilis negotiis et actis, utentur sigillo, Civitatis usitato, Sancti Christophori imaginem continente, caera vero rubea, more primariarum in Regno Poloniae civitatum“.

„Эти слова привиллегиі подвергаютъ сомнѣнію существованіе той поганской печати съ гербомъ города Вильны, о которой читали мы въ № 4 „Виленскаго Курьера“ за 1834 годъ, на стр. 24. Мы простили бы авторамъ ея надпись вокругъ герба, въ которой правописаніе и латинская грамматика сильно пострадали (*sigillum. Civitatis Vilensis. Anno VII. Urbi Condito. Institutum*), хотя во времена Сигизмунда-Августа, когда въ Литвѣ и Польшѣ латинскій языкъ былъ извѣстенъ въ совершенствѣ, легко было исправить надпись, вырѣзанную язычниками (?); но не можемъ простить набожнымъ виленцамъ того, что въ 1548 году—какъ доказываетъ авторъ статьи о печати города Вильны—имѣя въ гербѣ своемъ Христофора, о которомъ Сигизмундъ-Августъ, въ только-что приведенной привиллегиі, выражается такъ ясно—отважились употребить печать съ изображеніемъ Алциса, для приложенія къ документу. По какой именно причинѣ, понять невозможно. Замѣтимъ еще, что въ 1548 году, когда былъ выданъ отъ города Вильны актъ съ упомянутою печатью и съ подписью виленскаго войта, таковымъ былъ Феликсъ Лан-



гура, родомъ краковянинъ, фанатическій католикъ, который никогда не употребилъ бы поганской печати. Также и буквы *MR* не составляли бы инициаловъ его имени и фамилии и помѣщенный при нихъ крестъ былъ бы не совмѣстимъ съ языческимъ Алцисомъ. Словомъ, гербъ города Вильны въ 1548 году былъ не иной, какъ образъ св. Христофора, въ красномъ полѣ. Откуда же онъ почерпнулъ свое начало, быть можетъ когда-нибудь выяснится“.

Что же это значить? Балинскій какъ будто также ничего не знаетъ о легендѣ объ Оферусѣ, которая, очевидно, сочинена для того, чтобъ увѣрить новыхъ христіанъ, будто въ виленскомъ гербѣ фигурируетъ не Алцисъ, а св. Христофоръ. Почему Балинскій полагаетъ, что вопросъ о происхожденіи герба „когда нибудь выяснится“, если означенною легендою онъ разрѣшается такъ просто? Одно изъ двухъ: или Балинскій умышленно умалчиваетъ о ней, или дѣйствительно не зналъ о ея существованіи? Если умалчиваетъ, то съ какою цѣлью? А если не зналъ даже и онъ, то откуда же она известна одному Сѣмѣнскому? Ужъ не самъ ли онъ сочинилъ ее?

Впрочемъ, Балинскій долженъ былъ такъ говорить. Какъ іезуитъ, онъ остался вѣренъ себѣ: водить нарочно окольными путями читателя, чтобъ отдалить его отъ истины. Онъ умышленно обходитъ то обстоятельство, что гербъ получилъ начало свое не въ 1548 году, а слишкомъ 200 лѣтъ раньше, въ 1325 или 1330 году, когда литовцы не знали еще латинскаго языка, а слѣдовательно, не имѣли ни возможности, ни надобности дѣлать вокругъ своей печати надписи, которую такъ критикуетъ Балинскій, и еще менѣе изображать на ней крестъ. Безъ сомнѣнія, первоначальная печать, съ изображеніемъ Алциса, не имѣла никакой надписи и такая сдѣлана только во времена христіанства, съ добавленіемъ вензелеваго имени Пресвятой Дѣвы Маріи, т. е.

связанныхъ между собою буквъ *М* и *В* и украшенныхъ сверху крестомъ, какъ употребляется этотъ вензель донынѣ, причемъ самое изображеніе печати оставлено безъ малѣйшаго измѣненія и только Алцисъ переименованъ въ Христофора. Это отнюдь не догадка, а прямой фактъ, потому что св. Христофоръ ни въ древности, ни въ новѣйшее время не считался покровителемъ (патрономъ) Вильны, но таковыми были, вначалѣ (по свидѣтельству орденскаго посла къ Витольду, въ 1397 году, графа Кибурга) св. *Николай Миръ-Ликійскій*, а потомъ *Казимиръ*; Христофоръ же не имѣлъ здѣсь во имя свое ни храма, ни алтаря, ни праздника.



## XIV.

### З Н И Ч Ъ.

#### Мнимый священный огонь языческо-литовскій.

Литовцы во всё времена считали огонь божественною силою, боготворили его въ язычествѣ и почитаютъ въ христіанствѣ, которое само заповѣдало почитаніе огня, выражающееся въ свѣчахъ и лампадахъ, нерѣдко неугасимыхъ, предъ образами. Но вѣчный языческій огонь никогда названія *Знича* не носилъ и оно было присвоено ему только писателями, легкомысленно относившимися къ дѣлу и вводившими ученыхъ въ заблужденіе цѣлыхъ три столѣтія.

Послѣдствіемъ этого было то, что въ образованномъ мірѣ, даже въ Литвѣ (но не въ народѣ), укоренилось до такой степени убѣжденіе въ существованіи огня *Знича*, что поколебать это убѣжденіе представляется крайне труднымъ, если не невозможнымъ, тѣмъ болѣе, что популярныхъ сочиненій, для искорененія этого ложнаго убѣжденія, нѣтъ, а всё легкія, доступныя всякому пониманію произведенія, въ особенности поэтическія, въ родѣ поэмъ Крашевскаго „*Anafielas*“, основаны на безусловной вѣрѣ

въ мнимые авторитеты и только укореняють понятія о несуществовавшемъ названіи *Знича*.

Такъ, по свидѣтельствѣ Петра Епископа „*Зничь*“, вѣчный огонь, богъ стихій огня, символъ души боговъ и жизни цѣлаго міра, былъ боготворимъ и поддерживаемъ съ величайшимъ тщаніемъ и благоговѣніемъ въ отдѣльныхъ храмахъ, окруженныхъ крѣпкими стѣнами. Огонь пылалъ или въ честь всѣхъ боговъ, или предъ лицомъ единого непостижимаго Существа, которое было силою и душою какъ боговъ, такъ и цѣлаго свѣта. Изъ всего того, что объ этомъ огнѣ извѣстно изъ лѣтописцевъ, можно дать вѣру тому мнѣнію, что почитаніе *Знича* (?) относится къ самой отдаленной древности и занесено въ Литву предками литовцевъ съ востока. Историческія сказанія свидѣтельствуютъ, что литовцы въ XIV столѣтіи таили и скрывали въ глубинѣ неприступныхъ лѣсовъ священные свои огни и были вполне убѣждены, что угасаніе ихъ грозитъ гибелью всему литовскому народу.

„Самый огонь *Знича* добывался жрецами высѣканіемъ изъ кремня, который держалъ въ рукѣ истуканъ *Перкуна*.“

„На алтарѣ *Знича* жертвы не сожигались; это была безкровная жертва, неугасаемая лампада предъ лицомъ боговъ; ему поклонялись съ величайшимъ благоговѣніемъ; отъ него брали головни для сожженія самыхъ важныхъ жертвъ и для погребальныхъ костровъ. Золѣ его приписывали чудотворную, исцѣлительную силу; жрецы употребляли ее для ворожбы и предсказаній. Огонь *Знича* берегли жрецы и жрицы, подъ главенствомъ самаго *Креве-Кревейто* и за допущеніе огня угаснуть виновные служители алтаря были сожигаемы живьемъ. Для огня этого употреблялись дубовыя дрова изъ священныхъ рощъ, янтарь, живица и другія смолистыя вещества.“

Моленія огню совершались въ извѣстные часы, при звукахъ тогдашней музыки“.

Все это повторяетъ Нарбуттъ въ 1 ч., стр. 285 своей „Исторіи литовскаго народа“ и дѣлаетъ ссылки на „Житіе св. Ангарія“ и на примѣчанія Преторіуса.

Но Нарбуттъ машинально повторялъ за всѣми старинными писателями названіе *Знича* и не далъ себѣ труда провѣрить, откуда собственно взялось это названіе? Причиною тому было незнаніе имъ литовскаго языка. За Нарбуттомъ повторяли это названіе и всѣ послѣдующіе писатели, именно: изъ русскихъ—Иловайскій, Кукольникъ (Павель), Афонасьевъ; изъ польскихъ—Нарушевичъ, Шайноха, Балинскій и цѣлый рядъ ихъ компиляторовъ. Не говорю о Стрыйковскомъ и нѣмецкихъ древнихъ лѣтописцахъ, которые и придумали это названіе.

Нарушевичъ, въ „Ист. польск. нар.“, ч. I, стр. 451, говоритъ, что славяне также знали подобный огонь подъ названіемъ *Звичь* (?).

Афонасьевъ („Поэтич. возрѣніе славянъ на природу“), на стр. 7 выводитъ даже этимологию *Знича* и доказываетъ, что въ эпоху язычества литовцы чтили огонь, какъ особое божество, подъ именемъ *Знича*, именно: „*зной*, *зіять* или *зныять*—блестѣть, сіять; *зныять*—пылать, пахнуть гарью; *зноиться*—дымиться; *зноить*—отъ сильнаго жара принимать красный цвѣтъ“. (*Областн. слов.* 70; *Донской обл. слов.* 68). Г. Афонасьевъ забываетъ, что эти корнесловы славянскіе, а не литовскіе и не могли выродить литовскаго слова *Зничь*. Далѣе г. Афонасьевъ продолжаетъ:

„Но что поклоненіе огню принадлежало культу громовника, видно изъ самаго возженія священнаго пламени предъ истуканомъ *Перкуна*. Въ Литвѣ до сихъ поръ рассказываютъ, что нѣкогда *Перкунъ*, вмѣстѣ съ *Поклусомъ*, богомъ преисподней, странствовалъ по землѣ

и наблюдавъ за людьми: сохраняютъ ли они священный огонь? и при этомъ надѣляя богиню жатвъ, т. е. *землю*, неувядаемою юностію, силою плодородія“. (*Рус. Обл. Сл. 1860, т. V, стр. 12*).

Между тѣмъ, профессоръ Мѣржинскій первый заявилъ печатно, въ 1869 году, что на литовскомъ языкѣ вовсе нѣтъ слова *Znicz*, но есть *Zinicze*, мѣсто прорицанія, узнанія воли боговъ (*ogaculum*) и *Zinis*—истолкователь ея, прорицатель. Мѣржинскій въ первый разъ нашелъ слово *Zinicze* или *Жинче* у Длугоша, который въ франкфуртскомъ изданіи своемъ 1711 года, въ кн. X, на стр. 109, пишетъ подъ 1387 годомъ, что *вѣчный огонь* былъ поддерживаемъ „a sacerdote, qui *Zinicze* appellabatur“, т. е. священникомъ, который назывался *Жинче*. Мѣховитъ, въ базельскомъ изданіи 1682 г., стр. 143, слѣдуетъ тексту Длугоша и также пишетъ: „*Colebant ignem qui per sacerdotem lingua eorum, Zinicze nuncupatum, subjectis lignis adolebatur*“, т. е. также „священникомъ, на ихъ языкѣ именуемомъ *Жинче*“. Такимъ образомъ, у Длугоша и Мѣховита *Zinicz* или *Zinicze* означаетъ жрецъ—*sacerdos*; но Стрыйковскій и пользовавшійся имъ (или вѣрнѣе, обокравшій его, Гваньинъ, о чемъ Стрыйковскій своевременно заявлялъ печатно), пишутъ: „*Imprimis ignem, quem sua lingua Zinicz ut rem sacram appellabant*“. Значитъ у нихъ *Жинчъ*—огонь, *ignis*, а не *sacerdos*.

Стрыйковскій съ полнымъ пренебреженіемъ относился къ „поганству“ (язычеству) вообще и потому поверхностно смотрѣлъ и на всякій историческій матеріалъ, касавшійся этого „поганства“, сваливалъ матеріалъ этотъ въ одну кучу, не разбирая его достоинства, и представилъ его потомству въ сыромъ, неочищенномъ видѣ. Слѣдовательно, не мудрено, что онъ и къ сказаніямъ Длугоша и Мѣховита отнесся легкомысленно и, по обыкновенію своему, спуталъ, присвоивъ названіе *жреца*

и *мѣста прорицанія* самому огню. О Гваньинѣ не стоитъ и говорить, потому что это тотъ же Стрыйковскій, только въ латинскомъ изданіи.

Но Длугошъ и Мѣховитъ оказываются правыми только на половину: еслибы они знали литовскій языкъ, то должны были бы писать: *Зинисъ*—жрецъ и *Зиниче*—мѣсто узнанія воли боговъ.

Далѣе, г. Мѣржинскій, въ неизданномъ еще манускриптѣ своемъ (1887 года), разбирая Преторіуса (1635—1707), справедливо замѣчаетъ:

„Всѣ дѣла, какъ ежедневныя, такъ и особой важности, литвинъ приписывалъ волѣ боговъ, о которой справлялся у знахарей, называемыхъ у пруссовъ *Вайделе*, *Вайделотасъ*, а у литовцевъ *Зинисъ*. Въ менѣе важныхъ случаяхъ онъ могъ доискиваться воли боговъ самъ, при помощи огромнаго числа разныхъ суевѣрныхъ гаданій. Число знахарей было необыкновенно велико и названіе свое они получали отъ тѣхъ предметовъ, на которыхъ ворожили о волѣ боговъ или предсказывали будущее“.

Знахарями этими, независимо отъ самого *Креве-Кревейто* и отъ *Эварто-Креве*, *Креве*, *Кревулей*, *Вейдалотовъ*, *Вуршайтовъ*, *Сигонотовъ*, *Потиниковъ*, *Лингуссоновъ* и *Тилуссоновъ*, *Швальгоновъ*, *Буртиниковъ*, \*) были еще:

*Путтоны*, гадалщики надъ водою и ея пѣною.

*Пустоны*, получившіе названіе свое отъ глагола *дуть*,

---

\*) Лица первыхъ 4-хъ наименованій принадлежали къ числу высшаго духовенства; *Вейдалоты*—жрецы посвященные; *Вуршайты*—помощники ихъ, жрецы не посвященные; *Сигоноты*—родъ мусульманскихъ дервишей, фанатики и ворожен; *Потиники*—жрецы бога *Рагутиса*, литовскаго Бахуса; *Лингуссоны* и *Тилуссоны*—погребальные жрецы; *Швальготы*—свадебные жрецы; *Буртиники*—народные пѣвцы, потомъ гадалщики и шарлатаны. Были еще и *Мильдусники*, жрецы богини любви *Мильды*: они занимались разными предѣлами по части любовныхъ похожденій.

такъ какъ они дуновеніемъ своимъ брались залечивать раны и останавливать кровотеченіе. Въ просторѣчїи ихъ называли: *дмухачи, дутели*. Не вѣрнѣ-ли *надуватели?*

*Вейоны*, ворожившіе по направленію вѣтра.

*Жваконы*, прорицатели по пламени и дыму приготовляемыхъ ими особаго рода свѣчей.

*Сейтоны*, дѣйствовавшіе по разнымъ амулетамъ.

*Камну-Раугисъ*, вѣщуны по соли и пивной пѣнѣ.

*Зильнеки*, предсказатели по полету птицъ, метеорамъ и разнымъ воздушнымъ и атмосферическимъ явленіямъ.

*Лаббдартисы* (благодѣющіе), шарлатаны и фокусники, плуты и обманщики, пользовавшіеся нерѣдко большою популярностію. Латыши до сихъ поръ вѣрятъ въ этихъ „благодѣтелей“.

*Звайждники*, астрологи, гадавшіе по звѣздамъ.

*Юодукнигиткасъ*, чернокнижники, чародѣи.

*Вилкатсы*, оборотни, *волколаки*, имѣвшіе способность превращаться въ волковъ.

Женскій персоналъ этой группы составляли:

*Вейдалотки* или *Вейдалотени*, жрицы *вѣчнаго огня*, весталки.

*Рагуттени*, жрицы литовскаго Бахуса, бога Рагута.

*Бурты*, народныя пѣвицы, какъ *Буртиники*, народныя пѣвцы и гадальщики.

*Лаумы*, злыя вѣдмы, возведенныя даже въ божества.

Обо всѣхъ этихъ группахъ свидѣтельствуетъ Нарбуттъ въ ч. 1, стр. 263—270.

Далѣе, Мѣржинскій продолжаетъ:

„Главная ворожба была на огнѣ, который, въ извѣстныхъ мѣстностяхъ, поддерживаемый служащими жре-



цами, пылалъ вѣчно. Мѣсто такое, по крайней мѣрѣ на Жмуди, называлось *Зиниче*. т. е. мѣсто узнанія воли боговъ, такъ какъ послѣднiй слогъ этого слова eze (че) означаетъ мѣсто (огасulum). Желавице отправления къ мѣсту прорицанiя или храненiя огня, *Зиниче*, и спрашивали совѣта у знахаря жреца, *Зиниса*, который, по горѣвшему въ данный моментъ огню, узнавалъ о волѣ боговъ и сообщалъ ее вопрошавшему. Въ Пруссiи и Литвѣ святилица вѣчнаго огня назывались *Ромнове*, *Ромове* или *Ромийне*“.

Иезуитъ Станиславъ Ростовскiй, сочиненiе котораго вышло сперва въ Вильнѣ, въ 1768 году, а новымъ изданiемъ въ Парижѣ, въ 1877 году, подъ заглавiемъ:

„Lithuanicarum Societatis Jezu, Historiam Libri Decem, auctore Stanislao Rostovski, recognoscente Joanne Martinov, ejusdem Societatis Presbiteris“,

говоритъ о *Перкунѣ*, подъ 1583 годомъ, № 14: „Jupiter ille fulmineus, vulgo Percunas“.

Разсказываетъ онъ также, что Перкуну въ лѣсахъ посвященъ былъ вѣчный огонь:

„Percuno ignem in sylvis sacrum vestales romanas imitati, perpetuum alebant“.

Ростовскiй также не называетъ огня этого *Зиничемъ* и говоритъ лишь о „весталкахъ на манеръ римскихъ“.

Цитату эту приводитъ Э. Вольтеръ въ объясненiяхъ своихъ къ „Катехизису Даукши“, на стр. 101. Но на стр. 129 онъ приводитъ этимологическое происхожденiе словъ *Зиниче* и *Зинисъ*:

„Zunaut—шептать, гадать, чаровать; zinawimas—ворожба; žynis—колдунъ; žynie, а по Нессельману žyne—колдунья, вѣдьма. Къ этому корню, повидимому, принадлежитъ *Зиниче* у Длугоша: „Sacerdote qui Zincze appellabatur“. (О литературѣ этого вопроса сравни Я. Карловича, стр. 375, примѣч. № 81). Священный же огонь несправедливо называется *Зиничъ*“.

Наконецъ, Киркоръ, въ статьѣ „Матеріалы для археологическаго словаря“ (Древности. Вып. 2, Москва, 1867), единственный разъ осмѣливается противорѣчить Нарбутту и на стр. 48 заявляетъ:

„*Zinniche* въ буквальномъ переводѣ храмъ вѣдѣнія, идея животворной силы и вѣчнаго свѣта (неугасаемаго огня). Новѣйшія ученія изслѣдованія лингвистовъ доказали, что въ литовскомъ языкѣ слова *Zinnich* нѣтъ вовсе, но есть *Zinniche*, которое означаетъ *не огонь*, а отдѣльное, огражденное мѣсто для сборной молитвы духовенства. Отъ *Zinniche* происходитъ *Zinnisъ*, знахарь, вѣщунъ, жрецъ; *zinnia*—вѣдѣніе, знаніе; *zinnotie*—знать, вѣдать“.

То же самое повторяетъ Киркоръ и въ своемъ „Путеводителѣ по Вильнѣ“, на стр. 102. Но въ виду приведенныхъ выше этимологическихъ указаній Э. Вольтера, слова Киркора *zinnia* и *zinnotie*, какъ незнавшаго литовскаго языка, разумѣется, ничего не стоятъ.

Какъ въ дѣйствительности называли древніе литовцы священный огонь, до настоящаго времени еще не открыто. Мѣржинскій полагаетъ, что вѣроятно *швентъ-угнисъ*, а Вольтеръ, что *šwenta ugnėlé*, отъ индо-германскаго или обще-арійскаго *Spentas*—святой, чистый и санскритскаго *Agni*—огонь.

## XV.

# КРИВОЙ ГОРОДЪ

въ древней Вильнѣ.

---

„Кривымъ Городомъ“ называлась въ древности низменная часть города Вильны, возникшая въ „долинѣ Святорога“. Относительно названія этого (Кривой городъ) историки бродятъ вокругъ да около и никакъ не могутъ попасть на прямой путь. А дѣло такъ просто! Но вотъ историческій же источникъ:

Профессоръ новороссійскаго университета М. Смирновъ, въ сочиненіи своемъ: „Яелло-Яковъ-Владиславъ“ (Одесса, 1868), приводитъ, взятый у Нарбутта, „Дневникъ графа Кибурга“, посла къ Витольду отъ великаго магистра Тевтонскаго ордена, въ 1397 году.

Вотъ что пишетъ Кибургъ о тогдашней Вильнѣ:

„Изъ старой исторіи Вильны то достойно вниманія, что въ этихъ пустыняхъ и лѣсистыхъ мѣстахъ, кругомъ облитыхъ рѣками, было населеніе въ весьма давнее уже время, и когда, въ XIII столѣтіи, появилась здѣсь, при устьѣ Вилейки въ *Negris* (не *Negris*, а *Neris*, древнее названіе р. Вили), главная святыня *Перкуна*, то прилежавшія

слободы, ставъ подъ защиту первосвященника (*Креве-Кревейто*, верховнаго жреца), сдѣлались еще населеннѣе. Гедиминъ эти слободы превратилъ въ городъ, на подобіе городовъ заграничныхъ: русиновъ онъ поселилъ отдѣльно отъ туземцевъ; для нѣмцевъ и поляковъ назначилъ часть около маленькой церкви св. Николая. Длинная улица, простирающаяся отъ рудоминскаго вѣзда до замка, дѣлитъ городъ на двѣ половины: ближайшая къ Вилейкѣ—русская, напротивъ—литовская, гдѣ помѣщаются и нѣмцы. Верхній замокъ, на высокой, обрывистой, *Замковой* горѣ, обнесенъ высокими каменными стѣнами; нижній лежитъ внизу, окруженъ деревянными палисадами и валомъ и называется „*Кривымъ городомъ*“ (*Castrum curvum*, *Cromhaus*)“.

Такимъ образомъ, слободы, ставшія подъ защиту первосвященника *Креве*, получили названіе *Кревскихъ слободъ*, подобно тому, какъ у насъ существовали встарь *патріаршія слободы*. По превращеніи ихъ Гедиминомъ въ городъ, жители сохранили за собою прежнее названіе свое и зависимость отъ *Креве*. Поэтому, верхній замокъ или крѣпость, въ которомъ жилъ великій князь, называли *Пиле-Калмсъ*, т. е. горный замокъ, а нижній, обиталище Креве-Кревейто, *Креве-Пиле*, т. е. Кревскій замокъ или городъ; но, съ теченіемъ времени, передѣляли это названіе: русскіе въ „*Кривой городъ*“, поляки въ „*Krzywy grod*“, латинское духовенство въ „*Castrum curvum*“, а рыцари въ „*Cromhaus*“, не смотря на то, что Вильна въ тѣ времена отнюдь не имѣла никакой кривизны, напротивъ, отличалась широкими, прямыми улицами, пересѣкавшимися подъ прямымъ угломъ и образовавшими правильные, квадратные кварталы, какъ видно изъ плана ея, снятаго въ 1550 году и находящагося какъ въ виленской городской думѣ, такъ и въ географическомъ атласѣ *Вэмера*, изданномъ въ Нюренбергѣ въ 1610 году.

## XVI.

### ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ

### КЕЙСТУТА.



Высокопоэтическая личность *Кейстута* донынѣ живетъ въ народныхъ пѣсняхъ, преданіяхъ и легендахъ Литвы и особенно Жмуди.

По смерти *Гедимина*, сыновья его *Ольгердъ* и *Кейстутъ* заняли княжескіе престолы: первый въ Литвѣ, съ столицею въ Вильнѣ, а послѣдній на Жмуди, съ столицею въ Трокахъ.

Кейстуту понравилась знаменитая красавица, жрица богини Прауримы (Вейдалотка) *Бирута*, 17-ти-лѣтняя дочь жмудскаго баіораса (боярина) *Видымунда*; онъ похитилъ ее въ Полунгѣ (Полангенѣ) отъ алтаря богини, увезъ къ себѣ въ Троки и женился на ней въ 1348 году. Кейстутъ имѣлъ отъ нея сыновей: *Витовда* (Витольда въ 1350 году) *Патрика*, *Товцивилла* и *Сигайлу* и дочь *Дануту*.

Умирая, Ольгердъ назначилъ наслѣдникомъ своимъ, по соглашенію съ братомъ Кейстутомъ, старшаго сына своего *Ягайлу* (по польскимъ источникамъ *Ягелло*).

Исторія не щадитъ красокъ для обрисованія этого князя: она изображаетъ Ягайло малодушнымъ, коварнымъ, жестокимъ и злымъ. Онъ находился подъ вліяніемъ раба и любимца своего *Войдыллы*. Вступивъ на великокняжескій престолъ, Ягайло пожаловалъ этого раба въ княжеское достоинство, далъ ему Лидское княжество и выдалъ за него насильственно родную сестру свою Марію Ольгердовну.

Такіе поступки Ягайлы не могли нравиться честному герою Кейстуту и сыну его Витовду, однолѣтку и другу Ягайлы. Но Кейстутъ молчалъ. Когда же узналъ, что Ягайло, изъ боязни своего дяди и по наущенію Войдыллы, заключилъ съ великимъ магистромъ ордена тайный союзъ на погибель Кейстуту и Витовду, съ тѣмъ, чтобы за это отдать рыцарямъ Жмудъ, то поспѣшилъ хитростію овладѣть Вильною и заключилъ обоихъ измѣнниковъ въ оковы; найдя же письменные договоры Ягайлы съ рыцарями, Кейстутъ хотѣлъ казнить смертію преступниковъ; но по просьбѣ сына даровалъ жизнь племяннику и приказалъ повѣсить на „лысой“ (нынѣ крестовой) горѣ одноцо Войдыллу. Мало того, думая поразить племянника своимъ великодушіемъ и тѣмъ привязать его къ себѣ на всю жизнь, благородный Кейстутъ, хотя и свергнулъ его съ престола, отдалъ ему все богатства отца его Ольгерда и предоставилъ ему княжества Кревское и Витебское.

Занятый войнами, Кейстутъ находился внѣ предѣловъ Литвы; намѣстникомъ же своимъ въ Вильнѣ оставилъ нѣкоего *Гануля Накпмна* (*Ганулона*, какъ называютъ его иные). Этотъ новый измѣнникъ взбунтовалъ противъ Кейстута гарнизонъ въ Вильнѣ, вызвалъ изъ Витебска Ягайлу съ его войскомъ и впустилъ въ Вильну.

Тутъ Ягайло развернулся во всей силѣ злобнаго своего характера и совершилъ жестокую кровавую тризну по своему любимцѣ Войдыллѣ.

Со всёмъ сказаннымъ выше соглашаются въ общихъ чертахъ всё историки единогласно, но расходятся лишь въ деталяхъ.

Крашевскій (отнюдь, впрочемъ, не считающійся авторитетомъ), въ поэмѣ своей „Витольдовы Битвы“, въ увлеченіи ли поэтическаго творчества, или на основаніи какихъ нибудь давныхъ, рассказываетъ, что Ягайло, по прибытіи въ Вильну, велѣлъ снать съ дерева тѣло любимца своего Войдыллы и торжественно предать сожженію въ священной долинѣ *Святорога* (нынѣ Каедральная площадь), причемъ приказалъ возвести на костеръ сто юношей изъ числа преданныхъ Кейстуту; а предъ костромъ обезглавить сто старцевъ и колесовать *Видымунда*, дядю Бируты.

Затѣмъ, пользуясь отсутствіемъ дяди, напалъ на княжество Трокское и вынудилъ Витовда съ матерью бѣжать въ Гродну. Когда же Кейстутъ возвратился и, соединясь съ сыномъ своимъ, пошелъ на Вильну, то встрѣтилъ Ягайлу уже въ союзѣ съ меченосцами. Когда двѣ арміи сошлись, Ягайло не хотѣлъ начинать битвы, но сталъ звать Кейстута и Витовда въ свой станъ для переговоровъ о вѣчномъ мирѣ и согласіи. Пряמודушные герои отецъ и сынъ, обманутые клятвами братьевъ Ягайлы, которые и остались заложниками въ станѣ Кейстута, отправились въ непріятельскій лагерь; но тамъ были измѣннически схвачены, обезоружены и въ тяжкихъ оковахъ отправлены въ разные замки. Кейстутъ былъ посланъ въ тюрьму въ Крево, то самое, которое великодушный Кейстутъ далъ ему въ удѣлъ, по сверженіи съ виленскаго трона.

Въ тюрьмѣ этой, чрезъ пять дней, Кейстутъ былъ найденъ удушеннымъ.

Русскія лѣтописи говорятъ объ этомъ кратко:

*Соборійскій Временникъ* (въ виленскомъ изданіи Даниловича въ 1827 г., стр. 198): „Въ то же лѣто 6,888 (1380)

бысть мятежь (?) великъ въ Литвѣ и убиша великаго князя *Кестутія Гедиминовича*“.

*Лѣтописецъ великихъ князей литовскихъ* (изд. то же, стр. 58):

„И тамо во Кревѣ пятой ноци князя великаго *Кестутія* удавили коморники князя великаго Ягайлы: *Прокша*, што воду давалъ ему, а были иныи: *Мостевъ* братъ (?), а *Кучюкъ*, а *Лисица Жибентай*“.

Эта лѣтопись сохранила намъ имена убійць Кейстута; но произвольно ли они убили его изъ опасенія побѣга и отвѣтственности за то собственными головами, или же по повелѣнiю Ягайлы—не объясняетъ. Между тѣмъ, стража, въ оправданiе свое, показала будто князь удавился самъ.

Карль Шайноха, этотъ добросовѣстный историкъ Литвы, въ сочиненiи своемъ „*Ядвига и Ягайло*“ (перев. *Кеневича. Спб. 1880, стр. 353*) приводитъ рядъ писателей, взаимно противорѣчащихъ себѣ въ этомъ темномъ дѣлѣ. Вотъ что говоритъ онъ:

„Жена умершаго богатыря (Кейстута), прежняя языческая жрица (Бирута), теперь болѣе чѣмъ 60-лѣтняя старуха, была въ это самое время утоплена“. (*Вигандъ. Расч. 274. Слова Витольда у Бачка Annal. des Koenigs. Pr. Voigt Hist. Pr. V. 372. Тамъ же Handlung Wieder Polen.*)

„Столь рѣшительное свидѣтельство опровергаетъ Нарбутта (*V. 301, 302*), который удлиняетъ жизнь старой княгини еще на 34 года. Между тѣмъ, тотъ же Вигандъ, свидѣтельствующий объ утопленiи Бируты, говоритъ на стр. 388: „никто на свѣтѣ не знаетъ, какимъ образомъ Кейстутъ окончилъ жизнь“.

Ниже увидимъ, что Нарбуттъ въ этомъ случаѣ правъ и что Вигандъ относительно смерти княгини Бируты сильно ошибался.



Шайноха продолжаетъ:

„Liedenblat. Jahrbücher (стр. 50) говоритъ о самоубійствѣ Кейстута: Меченосцы, называвшіе Ягайлу „бѣшенною собакою“, не смѣли явно обвинять его въ смерти Кейстута. (Alte Preuss. Chron. Der Bösehant. Voigt Hist. Pr. V. 502). Витольдъ выразился только, что Ягайло „погубилъ“ его отца.

„Нарбуттъ не зналъ вовсе Виганда, изданнаго нѣсколько лѣтъ спустя послѣ выхода его сочиненія (*Исторія Литовскаго Народа*). Но Вигандъ, какъ современникъ и можетъ быть даже личный свидѣтель (?), имѣетъ преимущество предъ русскими хрониками (?).

„Длугошъ соединилъ Виганда съ русскими сказаніями; но руководимый больше народностію (?), нежели историческою критикою, онъ далъ первенство русскимъ источникамъ (!).

„Нарушевичъ послѣдовалъ Длугошу. Не зная, что случилось въ кривской тюрьмѣ—пишетъ онъ—Ягелло послалъ брата своего Скиргайла съ порученіемъ къ Кейстуту. Скиргайло, желая говорить съ дядей, напелъ его мертвымъ. Ему ничего не оставалось дѣлать, какъ отправить тѣло въ Вильну, чтобы тамъ отдать послѣднюю почесть. Ягелло и сестра его Марія, вдова Войдыллы, позволяли себѣ не вѣрить добровольной смерти стараго князя“. (Voigt. Hist. Preuss. V. 371, 372).

Едва ли справедливо Шайноха вѣрить больше Виганду, нежели Длугошу, Нарушевичу и русскимъ источникамъ. У Виганда одно только справедливо, что „никто на свѣтѣ не знаетъ, какимъ образомъ Кейстутъ окончилъ жизнь“. Если родной сынъ Кейстута не обвинялъ Ягайлу въ убійствѣ отца своего, то какое же право имѣли обвинять его меченосцы? Ниже увидимъ, что могли быть и другія причины молчанія меченосцевъ, тогдашнихъ союзниковъ Ягайлы. Сынъ же дѣйствительно

могъ не знать, какимъ образомъ погибъ его отецъ, потому что содержался съ нимъ въ разныхъ тюрьмахъ. Витольдъ не могъ допустить мысли, чтобъ двоюродный братъ его простеръ свою жестокость до убійства родного дяди, и потому могъ повѣрить или самоубійству отца, или насилію со стороны тюремной стражи—и затѣмъ обвинять Ягайлу только въ томъ, что онъ „погубилъ“ отца арестомъ.

Коварный Ягайло ловко сдумѣлъ скрыть свое преступленіе и больше ничего. Не даромъ онъ не вѣрилъ въ самоубійство Кейстута.

Между тѣмъ, всѣ народныя преданія, легенды и пѣсни безусловно обвиняютъ Ягайлу въ убійствѣ любимого князя.

Тѣ же легенды совершенно противорѣчатъ мнимому утопленію Вируты, о чемъ Вигандъ, этотъ „личный свидѣтель“, заявляетъ, какъ о фактѣ совершившемся. Еслибы Вирута погибла такимъ мученическимъ образомъ, то этимъ были бы переполнены всѣ литовскія пѣсни, посвященныя ей, и могила ея, во времена христіанства, была бы чтима, какъ могила мученицы.

Между тѣмъ, народъ, по свидѣтельству Стрыйковскаго—какъ было сказано въ статьѣ „Праурима“—считаетъ Вируту, за ея добродѣтели, только *святою*; а Нарбуттъ (*ч. I, стр. 88*) говоритъ, что ни Ягайло, ни Витольдъ, изъ *уваженія къ княгинѣ*, не могли склонить ее къ принятію христіанства и потому она оставалась въ язычествѣ до смерти.

Новое доказательство, что Вирута не была утоплена и что Виганду вѣрить не слѣдуетъ.

Но всѣ эти источники еще мало бросаютъ свѣта на занимающій насъ вопросъ. Привожу новую серію ихъ.

Въ составленномъ виленскимъ статистическимъ комитетомъ сочиненіи (сдѣланшемся нынѣ библиографическою

рѣдкостію) „*Черты изъ исторіи и жизни литовскаго народа*“ (Вильна. 1854), на стр. 26, со ссылкой также на Voigt. Hist. Pr. V. 372, говорится:

„Вмѣстѣ съ Кейстутомъ умерщвленъ былъ и вѣрный слуга его, молодой русинъ Григорій *Омуличъ* (?) рѣшившійся защищать (?) своего князя. Въ Польшѣ старались не вѣрить этому коварному и жестокому поступку Ягайлы; но фактъ этотъ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Не только Кейстутъ былъ умерщвленъ по приказанію Ягайлы, но онъ истребилъ даже весь родъ жены Кейстута Бируты. Дядя ея *Видымундъ* и внукъ (?) *Бутримъ* были посажены на колъ (?), другіе казнены и имѣнія ихъ конфискованы. Бирута была осуждена на утопленіе (?), но неизвѣстно какимъ образомъ избѣжала смерти. Она жила въ Брестѣ, Поланченѣ и другихъ мѣстахъ. Умерла въ 1416 году. Народъ чтить ее, какъ богиню и создалъ подъ ея именемъ особаго идола“ (?).

Однакоже, ни объ Омуличѣ, ни о Бутримѣ, ни объ „особомъ идолѣ“ Бируты не упоминаютъ польскіе источники. Сомнительно, чтобы Омуличъ былъ убитъ въ крѣвской темницѣ, вмѣстѣ съ Кейстутомъ. Сколько извѣстно, Кейстутъ и сынъ его Витольдъ заключены въ тюрьмы одни, безъ слугъ и послѣдніе ни въ какомъ случаѣ не могли быть допущены къ узникамъ, охраняемымъ съ особенною строгостію. Убивать же Омулича одновременно съ Кейстутомъ не было расчета уже потому, что Ягайло имѣлъ въ виду приписать смерть дяди самоубійству, чему никто не далъ бы вѣры, такъ какъ трупъ Омулича былъ бы фактическимъ доказательствомъ преступленія.

Вѣроятно Омуличъ и Бутримъ погибли во время кровавой тризны, справленной Ягайлою въ память Войдыллы.

Профессоръ новороссійскаго университета Смирновъ,

въ книгѣ „Ягелло Яковъ-Владиславъ“, на стр. 34, говорить объ этомъ же предметѣ слѣдующее:

„Достигнувъ измѣною торжества надъ дядею, Ягелло поступилъ съ нимъ крайне жестоко, какъ видно, забывъ кроткое обращеніе съ нимъ Кейстута въ то время, когда самъ былъ въ его рукахъ. Слишкомъ 80-ти-лѣтній старецъ, близкій родственникъ, посадившій Ягеллу на виленскомъ престолѣ, былъ закованъ въ тяжелыя цѣпи, отвезенъ въ кривскій замокъ и тамъ брошенъ въ темное и смрадное подземелье. Четыре ночи провелъ онъ въ Кривѣ, а на пятую, какъ говоритъ лѣтописецъ, удавили его коморники (тюремщики) ягайловы: *Прокша, Мостергъ* братъ, *Кучюкъ* и *Лисица Жибентай* (*Нарбуттз. „Romniki do dziejów Litwy“*, 26).

„Итакъ, убійцами Кейстута были приближенные Ягеллы и, конечно, нельзя думать, что они совершили преступленіе безъ его воли. Согласное свидѣтельство источниковъ не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія на счетъ виновности Ягеллы въ насильственной смерти дяди, тѣмъ болѣе, что умерщвленіе Кейстута было только первымъ насиліемъ, за которымъ послѣдовали другія, совершенныя по его приказанію. Неизвѣстно, какому преслѣдованію подверглась Бирута; современные слухи, сохраненные лѣтописцами (*Вигандъ, 274*), говорили даже объ ея утопленіи, что, очевидно, невѣрно, такъ какъ она умерла несравненно позднѣе (*Нарбуттз. V, 301*). Зато ея дядя, почтенный старикъ Видымундъ, пользовавшійся большимъ уваженіемъ на Жмуди, былъ колесованъ (*и не посаженъ на колъ!*), а жена его выгнана изъ всѣхъ его имѣній (*Лѣтописецъ Даниловича, 38; Нарбуттз. „Romniki do dziejów Litwy“*, 26 и *Стрыйк. II, 66*). Такой же участи подверглись многіе знатные жмудины, виновные только въ томъ, что приходились сродни Бирутѣ и чрезъ нее Кейстуту. (*Не объ этихъ ли ста обезглавленныхъ старцахъ и ста сожженныхъ юно-*

*шахъ поетъ Крашевскій?*). Попытка оправдать Ягеллу въ этомъ случаѣ невозможна; желаніе облегчить его виновность совершенно напрасно, потому что едва ли можно извинить преступника слабостію его характера? Но, тѣмъ не менѣе, мы замѣчаемъ подобное желаніе въ Нарбутѣ. Онъ какъ будто ставитъ въ заслугу Ягеллѣ то отвращеніе, которое онъ почувствовалъ со времени убійства къ главному его виновнику *Прокитъ* или *Прортъ* и котораго съ тѣхъ поръ онъ не хотѣлъ видѣть. (*Не упрёки ли совѣсти проявлялись въ этомъ?*). Хотя въ нашихъ глазахъ подобное обстоятельство нисколько не уменьшаетъ виновности Ягеллы, но мы приводимъ его только потому, что намъ извѣстны факты, въ иномъ свѣтѣ выставляющіе отношенія великаго князя къ убійцамъ Кейстута; такъ, въ 1409 году Ягелло пожаловалъ „Науэнпилле“ (гдѣ прежде находился Новогрудокъ литовскій) *Лисску Жибинтъ* *Lissko Żybinta* — *тотъ же Лисица Жибентай*), который основалъ здѣсь поселеніе и назвалъ его по своему имени, „Лишковымъ“. Мы, конечно, не могли оставить безъ вниманія огромнаго сходства въ этомъ имени съ именемъ одного изъ убійць, и если оба они принадлежатъ одному и тому же лицу, то едва ли можно извлечь что нибудь хорошее для Ягеллы изъ отвращенія, которое онъ чувствовалъ къ одному убійць и награды, которую далъ другому“. (*Monumenta varia de Ionis (?) diversis et personis (?) a Solomone Risinio caposita, Lubecae od Chronum in Litwania. 1823. Editio posterior, in officina Petri Plasii. См. „Pomn. pisma histor.“ Нарб., стр. 29).*

Мѣстечко *Лишковъ* дѣйствительно существуетъ и въ настоящее время близъ м. Друскеникъ, въ Гродненской губерніи и называлось въ древности „Науэнпилл“ — новый замокъ. (*См. „Виленскій Календарь на 1888 годъ“, Н. Юничаго, статья „Друскеники и ихъ окрестности“*).

Оправдать себя предъ свѣтомъ въ убійствѣ дяди Ягаило могъ бы лишь казною тюремщиковъ, хотя бы виновныхъ даже только въ допущеніи Кейстута до самоубійства. Но Ягаило не только этого не сдѣлалъ, а напротивъ, наградилъ ихъ, какъ доказываетъ сохранившійся въ исторіи примѣръ награды *Лисицы Жибенталя*. Безъ сомнѣнія, не остались безъ награды и другіе, только исторія о нихъ ничего не знаетъ.

Въ примѣчаніи къ сказанному выше г. Смирновъ (*на стр. 235*) говоритъ:

„Лѣтописецъ, изданный Даниловичемъ и другой, изданный Нарбуттомъ, Длугошъ, а также Ваповскій, Стрыйковскій, Кояловичъ, Лука Давидъ, Грунау согласно говорятъ объ удушеніи Кейстута. Единственное разнорѣчіе ихъ заключается въ различіи именъ убійць, которые, кажется, правильнѣе названы въ лѣтописи Нарбутта. Вигандъ изъ Марбурга, сказавъ на 274 стр. „Kynstut in captivitate strangulatur“, на 288 говоритъ: „sed quomodo obierit nemo unquam cognovit“, слѣдовательно, самъ себѣ противорѣчить и потому можетъ быть вычеркнутъ изъ числа источниковъ этого событія. Линденблатъ (*стр. 50*) говоритъ, что Кейстутъ покончилъ жизнь самоубійствомъ; но онъ не вполне въ этомъ увѣренъ и передаетъ это извѣстіе какъ слухъ: „als man sagete“. Разсказъ Витовда о насильственной смерти отца, въ которой онъ обвиняетъ Ягелла и Скиргелла и другое донесеніе, найденное въ кенигсбергскомъ архивѣ, также объ удушеніи Кейстута, приведены у Voigt'a, V. 372“.

Здѣсь г. Смирновъ ошибается. Витовдъ, какъ разъяснено было выше, не обвинялъ Ягаилу въ непосредственномъ убійствѣ отца его, а только въ томъ, что онъ „погубилъ“ его, т. е. довель до смертнаго исхода. Кенигсбергское-же донесеніе, помѣщенное у Voigt'a, также не говоритъ категорически, что Кейстутъ удушенъ по приказанію Ягаилы.

„При такомъ единогласіи—продолжаетъ почтенный профессор—такого множества источниковъ, казалось-бы, нѣтъ возможности сомнѣваться въ виновности Ягеллы; но въ сочиненіи Шайнохи („Ядвига и Ягайло“, львовское изд. I, 322 и 323 и примѣч. къ нимъ) встрѣчаемъ отважную попытку уничтожить показанія всѣхъ источниковъ и оправдать Ягеллу на основаніи однихъ соображеній. Болѣе всего поддерживаетъ свою мысль Шайноха указаніемъ на молчаніе орденскихъ лѣтописей, тогда какъ рыцари, впоследствии злѣйшіе враги Ягеллы, не преминули-бы воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы достойно очернить его. Но, во-первыхъ, это не справедливо: Вигандъ говоритъ объ удушеніи Кейстута, хотя послѣ какъ будто забываетъ сказанное имъ, и, во-вторыхъ, если-бы ни одна орденская лѣтопись не сказала бы ни слова объ этомъ событіи, то молчаніе ихъ было-бы понятно: рыцарямъ непріятно было и не слѣдовало говорить о преступленіи, въ которомъ участіе ихъ несомнѣнно, такъ какъ лѣтопись, изданная Нарбуттомъ („Romniki do dziejów Litwy“, 26), перечисляя убійцъ Кейстута, одного изъ нихъ называетъ „Мостеръ братъ“, противъ чего на поляхъ оригинала приписано (*къмъ?*) „крыжакъ“, т. е. рыцарь нѣмецкаго ордена. Участіе рыцаря въ убійствѣ Кейстута совершенно достаточно объясняетъ молчаніе орденскихъ лѣтописей о родѣ его смерти“.

Это совершенно новое обстоятельство, проливающее новый свѣтъ на все событіе. Нарбуттъ легкомысленно не придавалъ никакой важности этой припискѣ. Между тѣмъ, если-бы было доказано, что Мостеръ дѣйствительно былъ „крыжакъ“ (рыцарь), то участіе рыцаря въ убійствѣ Кейстута было бы фактомъ первостепенной важности, потому что уличало бы не только Ягайлу, но и великаго магистра, въ приказаніи удавить героя, какъ обимъ имъ страшнаго. Но какимъ же образомъ рыцарь

могъ очутиться тюремщикомъ у Ягайлы и при темницѣ Кейстута? Кто противъ имени „Мостерь братъ“ поставилъ слово „крыжакъ“? Кто кромѣ Нарбутта видѣлъ эту приписку? Сдѣлана-ли она рукою самого лѣтописца или какого нибудь неизвѣстнаго читателя? Слово „братъ“ могло относиться и къ каждому низшему лицу монашескаго, даже не рыцарскаго, ордена, клирику, равному нашему послушнику. Такое лицо могло состоять при кривской тюрьмѣ въ качествѣ просвѣтителя „ягайловскихъ живодеровъ“. Но если Мостерь дѣйствительно былъ „крыжакъ“, то должно полагать, что великій магистръ, сдѣлавшій, вмѣстѣ съ Ягайлою, нападеніе на владѣнія Кейстута, условился съ Ягайлою убить старика и командировать рыцаря Мостера какъ для конвоированія его, такъ и для наблюденія за приведеніемъ приговора въ исполненіе. Въ послѣднемъ случаѣ почему же Кейстутъ не былъ убитъ немедленно, а только на пятый день пребыванія въ тюрьмѣ? Не ожидали ли убійцы, что 80-лѣтній старецъ, обремененный тяжелыми цѣпями и повергнутый въ смрадную темницу, не выдержитъ страшнаго положенія своего и скончается естественною смертію и потому не прибѣгали къ крайней мѣрѣ. Въ такомъ случаѣ, почему же не ждали долѣе? Или Мостерь (если онъ былъ рыцарь) не могъ ждать долѣе и поторопиль убійцъ, чтобы скорѣе возвратиться къ своей когортѣ и отрапортовать магистру и Ягайлѣ, что все кончено.

Ни одинъ изъ этихъ вопросовъ не приходилъ въ голову Нарбутту, и онъ, по обычному легковѣрію своему, повторилъ приписку „крыжакъ“, безъ историческаго изслѣдованія происхожденія этого важнаго слова, какъ видно, не имѣвшаго для него никакого значенія.

Между тѣмъ, нѣтъ повода не вѣрить Нарбутту въ дѣйствительности существованія этой приписки; а потому новѣйшему историку не остается ничего болѣе,



какъ признать, что приписка къ „Лѣтописцу Великихъ Князей Литовскихъ“ слова *крыжакъ* сдѣлана рукою самого автора, или же лица, не менѣе хорошо знавшаго тогда всѣ подробности дѣла, и затѣмъ считать фактомъ, не подлежащимъ никакому сомнѣнію, личное участіе рыцаря Мостера въ удавленіи Кейстута, а слѣдовательно и съ вѣдома великаго магистра и Ягайлы.

Крашевскій въ поэмѣ „Витольдовы Битвы“ удачно извернулся въ этомъ инцидентѣ. Онъ пишетъ, что Ягайло, поручивъ своимъ палачамъ строжайше стеречь Кейстута, сказалъ будто бы имъ, что они отвѣчаютъ за него головами и что онъ, Ягайло, предпочитаетъ видѣть его скорѣе мертвымъ, чѣмъ на свободѣ. По доставленіи Кейстута въ темницу, онъ, въ теченіе 4 дней и 4 ночей, отдохнуль и собрался съ силами настолько, что разбилъ свои узы и началъ ломать окно, что увидя живодеры и помня слова Ягайлы, рѣшили между собою удавить его и потомъ сказать, будто онъ самъ повѣсился.

Но Крашевскій не авторитетъ и выдумка его скорѣе остроумна, нежели исторична.

Крашевскій, кромѣ того, поэтизируетъ моментъ переноса тѣла Кейстута въ Вильну, для сожженія, говоря тамъ же:

Изъ Вильны столицы  
Ягайло бѣжить:  
Его ужасаетъ  
Убитаго видъ.  
Литовцы, жмудины,  
Рыдая, крича,  
Кейстутово тѣло  
Въ столицу несутъ,  
Убійцу клянуть,  
Клянуть палача.

Полагаю, что съ точки зрѣнія ученой критики всѣ факты загадочной смерти Кейстута достаточно освѣщены и изъ нихъ можно вывести безошибочное заключеніе, что Кейстутъ дѣйствительно былъ удушенъ по повелѣнію варвара Ягайлы, который, какъ малодушный трусъ и жестокій по природѣ, боялся своего дяди и ненавидѣлъ его.



## XVII.

# ВОЗДУШНЫЯ ЧУДЕСА.

---

Не касаясь чудесъ религіозныхъ, поговоримъ о чудесахъ историческихъ, т. е. дошедшихъ до насъ путемъ исторіи. Но есть ли въ самомъ дѣлѣ чудеса въ природѣ и можно ли вѣрить историческимъ сказаніямъ о нихъ?

Необходимо разобрать вопросъ: какимъ образомъ могли попасть въ древнія лѣтописи эти сказанія? Кто передавалъ ихъ лѣтописцамъ и были ли сами лѣтописцы настолько хладнокровно-разсудительны, чтобы взвѣсить обстоятельно каждый передаваемый имъ рассказъ, или же они заносили его въ свои лѣтописи легковѣрно и опрометчиво?

Вообще всѣ сказанія въ лѣтописяхъ о чудесахъ пишутся съ чужихъ словъ; но не со словъ самихъ очевидцевъ, а только „слышавшихъ рассказъ отъ очевидцевъ“; послѣдніе также слышали отъ другихъ „очевидцевъ“, другіе отъ третьихъ и такъ далѣе, до безконечности; тѣхъ-же людей, которые дѣйствительно видѣли сами чудо, на дѣлѣ не оказывается.

Но кто же такіе эти рассказчики? Большею частію люди или легковѣрные, или лжецы. Легковѣрные люди,

испугавшись какого нибудь самаго естественнаго явленія природы, не имѣютъ ни мужества, ни разсудка для повѣрки явленія и выдаютъ его за чудо; а лжецы нарочно морочатъ другихъ вымышленными разсказами своими и нерѣдко добираются до того, что потомъ сами вѣрують въ свою ложь и готовы клясться, что чудо дѣйствительно совершилось. Они же увѣряють иногда, будто были „очевидцами“ извѣстнаго явленія; но имъ ни въ какомъ случаѣ давать вѣры нельзя. Попробуйте разсказчику такого рода передать вами же сочиненный какой нибудь анекдотъ мистическаго характера, увидите, что разсказчикъ, по истеченіи нѣкотораго времени, вамъ же разскажетъ вашъ анекдотъ и съ божбою станетъ увѣрять, что въ происшествіи этомъ участвовалъ онъ самъ.

И вотъ источники для лѣтописцевъ!

Но когда писались самыя лѣтописи? Конечно, въ глубокой древности, въ средніе вѣка, которые исторія справедливо называетъ вѣками варварства и фанатизма.

Могъ ли лѣтописецъ тогдашняго времени не быть сыномъ своего вѣка?

Образованіе таилось тогда въ тѣсныхъ монастырскихъ стѣнахъ. И какое образованіе? Грамотность, да изученіе священныхъ книгъ. Могъ ли невѣжественный, фанатичный монахъ, подъ вліяніемъ вѣрованія въ религіозныя чудеса, не давать вѣры и другимъ чудесамъ изъ видимаго міра? Лѣтописцы вообще не имѣютъ привычки объяснять, откуда они почерпнули свѣдѣніе о данномъ происшествіи и только заявляютъ о немъ, какъ о фактѣ совершившемся.

Привожу этому доказательства.

Касаюсь здѣсь только воздушныхъ чудесъ, вѣра въ которыя, благодаря лѣтописцамъ, переживаетъ цѣлый рядъ вѣковъ.

Литовскій историкъ XVI столѣтія Матвѣй *Стрыйковскій*, въ „Хроникѣ“ своей, напечатанной въ Кенигс-

бергъ въ 1582 году и вышедшей новымъ изданіемъ въ Варшавѣ въ 1846 году, на 307 стр. I тома пишеть:

„Въ 1269 году по Рождествѣ Христовомъ, въ Польнѣ показались чудеса на воздухѣ: на облакахъ были видны двѣ сражающіяся арміи и даже былъ слышенъ лязгъ оружія?“

Стрыйковскій не называетъ ни мѣста появленія чуда, ни источника, изъ котораго его взялъ. Но что онъ могъ слышать отъ кого нибудь эту сказку, а не выдумалъ ее самъ, можно дать вѣру.

Въ „*Ипатіевской Лѣтописи*“, изданной въ „Полномъ Собраніи Русскихъ Лѣтописей“ (С.-Петербургъ, 1843), во II-й части, на стр. 3, сказано:

„Тако се древле, во дни Антіоховы, быша знаменья въ Ерусалимѣ; ключися являтися на воздуси, на конихъ рыщуще во оружіи и оружьемъ двизаніе; то се баше въ Ерусалимѣ токмо, а по инымъ землямъ не баше сего“.

Въ „*Густинской Лѣтописи*“, въ томъ же „Собраніи“ и части, на стр. 270, подъ 6573 (1065) годомъ говорится:

„Якоже въ Іерусалимѣ являхуся вой на конѣхъ рыщуще, являху Антіохово нашествіе“.

И подъ 6777 (1269) годомъ, на стр. 344:

„Дивы великіе являхутся: видяху люди на небѣ войска ве зброяхъ, и раздѣлены на два полка, и едны зъ другими бяхуся“.

Оба лѣтописца также свидѣтельствуютъ объ этихъ миражахъ, какъ о фактахъ совершившихся. Очевидно, лѣтописцы не были свидѣтелями явленій, но повторили съ полною вѣрою чужіе рассказы; чьи же именно: людей ли легковѣрныхъ, или лжецовъ—во мракѣ вѣковъ различить невозможно.

„Ипатіевская Лѣтопись“, съ прибавленіемъ къ ней „Густинской Лѣтописи“, составляетъ, какъ сказано выше, II-ю часть „Полн. Собр. Рус. Лѣтописей“. Первая изъ нихъ, въ списокѣ конца XIV и начала XV в., въ 306 листовъ, писана на бомбицинѣ, разными почерками, принадлежала ипатіевскому монастырю и хранится нынѣ въ библіотекѣ Императорской академіи наукъ, подъ № 6. На внутренней сторонѣ переплетной доски и на бѣломъ листѣ, въ трехъ мѣстахъ, скорописью XVII в., отмѣчено:

„Сія книга Ипатцкаго монастыря слуги Тихона Ондреса сына Мижужева“ и

„Книга Ипатцкаго старца Тарасія“ (вѣроятно того же Тихона по постриженіи); а на оборотѣ:

„Книга Ипатцкаго монастыря: Лѣтописецъ о квяженіи“.

Такимъ образомъ, лѣтопись эта существовала еще до Стрыйковскаго; но послѣдній, какъ видно, не изъ нея почерпнулъ свое свѣдѣніе о воздушномъ видѣніи въ Польшѣ.

„Густинская Лѣтопись“ писана западно-русскою скорописью XVII столѣтія и принадлежитъ московскому Императорскому обществу исторіи и древностей російскихъ. Авторъ ея называетъ ее „Кройникою“, а переписчикъ въ заголовкѣ говоритъ (стр. 233):

„Списася сія Кройника въ Малой Россіи, въ монастырѣ Святыя Живоначальныя Троицы общежительномъ Густынскомъ Прилудкомъ, за благословеніемъ превелебнаго отъ Богу его милости господина отца Авксентія Іоакимовича, игумена той же святой обители, року 1670 мѣсяца августа 2 дня“.

Послѣ „предмовы до чительника“ слѣдуетъ подпись:

„Зичливый писарь той же Кройники, іеромонахъ недостойны Михайль Павловичъ Лосицкій“.

Лѣтопись эта выпала послѣ появленія въ свѣтъ „Хроники“ Стрыйковскаго, вышедшей въ 1582 году. Но не нужно сопоставлять лѣтъ выхода „Хроники“ и „Кройники“, чтобъ прійти къ заключенію, что авторъ „Кройники“ раболѣпно подражалъ Стрыйковскому и повторялъ всѣ бредни послѣдняго. Вообще же „Густинская Лѣтопись“ много и безъ всякаго разбора заимствовала изъ „Ипатіевской Лѣтописи“ и изъ „Хроники“ Стрыйковскаго. Такъ, напримѣръ, іерусалимское видѣніе она цѣликомъ взяла изъ первой, а второе сказаніе свое выписала изъ послѣдней, измѣнивъ только въ томъ отношеніи, что не назвала мѣста появленія на облакахъ двухъ ратей (въ Польшѣ).

Но заслуживаетъ ли вѣры Стрыйковскій? Ученые давно уже прішли къ заключенію, что Стрыйковскій, а также *Ласицкій*, издавшій сочиненіе свое о Литвѣ въ 1580 году (слѣдовательно, одновременно съ Стрыйковскимъ), подъ заглавіемъ: „De diis Samogitarum et falsorum christianorum“ съ ихъ руководителемъ, мистификаторомъ *Грунау*, цѣлыхъ три столѣтія держали въ заблужденіи ученый міръ!

Еслибы Стрыйковскій былъ историкомъ серьезно относящимся къ дѣлу, то развѣ могъ бы онъ такъ легкомысленно повѣрить сверхъестественному воздушному явленію или серьезно повторить слѣдующія нелѣпости:

На стр. 307 1-го тома:

„На слѣдующій 1270 годъ, 20 января, въ краковской землѣ, въ дер. Накель, шляхетная Малгоржата, супруга Гроффа Виробослава, однимъ порожденіемъ (sic!) родила *тридцать шесть* живыхъ дѣтей, которыя въ тотъ же день умерли.“

„Потомъ другая, по имени Цехина, также однимъ порожденіемъ родила *шестидесятъ* дѣтей.

„Авицена, въ книгѣ „О животныхъ“, пишетъ, что одна женщина, однимъ порожденіемъ, имѣла *семьдесятъ* *восемь* дѣтей.

„Также Альбертъ великій, въ кн. IX „De historiis animalium“, говоритъ, что одна женщина въ нѣмецкой землѣ, однимъ порожденіемъ, привела на свѣтъ *полтора-раста* дѣтей, но недоношенныхъ (!! ) и мертвыхъ, а каждое изъ нихъ не было больше мизинца мужской руки“.

Это просто дѣтскіе ливни!

Не станемъ говорить о передаваемыхъ Стрыйковскимъ другихъ чудесахъ изъ міра физическаго. Достаточно и этихъ выписокъ для того, чтобы убѣдиться, въ какой степени можно вѣрить ему, какъ историку. Даже „Густинская Лѣтопись“, раболѣпно повторившая всѣ сказки Стрыйковскаго о разныхъ чудесахъ и знаменіяхъ, сдѣлала ему уступку только на 36 дѣтей, говоря на стр. 344:

„Въ лѣто 6777 (1269), недалече отъ Кракова, одна пани Вербославская Малгората, однимъ роженіемъ породы дѣтей живыхъ *тридцать шесть*, генваря 21“.

О прочихъ же дѣтскихъ ливняхъ, разразившихся „еднымъ роженіемъ“ и состоявшихъ изъ 60, 78 и 150 дѣтей, посовѣстилась повторить.

Но возвратимся къ воздушнымъ чудесамъ.

Вѣра во все сверхъестественное современна чело-вѣку. Природа людская склонна скорѣе къ преувеличенію всякаго событія, нежели къ анализу его холоднымъ разсудкомъ. Всему чудесному, несбыточному какъ то вѣрится съ удовольствіемъ и какъ то не хочется, чтобы чудесное было низведено на обиходное, матеріальное. Самый разсказъ о какомъ нибудь чудѣ передается обы-



кновенно съ какимъ то поэтическимъ паѳосомъ и красно-рѣчіемъ, возбуждаемымъ особымъ вниманіемъ слушателей. Тутъ можно щегольнуть краснорѣчіемъ и блеснуть краснымъ словомъ, тогда какъ въ разсказѣ о предметахъ обыденныхъ сдѣлать этого нельзя, да едва ли можно и найти внимательныхъ слушателей?

Вотъ почему вѣра во все несбыточное крѣпка въ народѣ! Она, какъ мы видѣли, проникаетъ къ намъ изъ мрака минувшихъ вѣковъ и, конечно, проникнетъ въ туманную даль грядущихъ столѣтій, шагая твердою поступью по могиламъ цѣлыхъ поколѣній.

Что вѣра въ воздушныя чудеса живетъ и въ наше время, привожу слѣдующій примѣръ.

Въ 1839 году я прѣхалъ на жительство по службѣ въ г. Лиду, Виленской губерніи, гдѣ передавался тогда изъ устъ въ уста такой разсказъ: года два-три назадъ, на большомъ, усаженномъ березами, трактѣ изъ Вильны въ Лиду, у послѣдней станціи Жирмуны, множество народа было свидѣтелемъ прохожденія по воздуху, чрезъ дорогу, не высоко отъ земли, огромныхъ полчищъ рыцарей, которые, въ полномъ вооруженіи, въ шлемахъ съ перьями и латахъ, гарцовали на коняхъ и гремѣли оружіемъ. Проѣзжавшіе въ г. Лиду по этой дорогѣ должны были остановиться, изъ опасенія быть смятыми рыцарскими лошадьми. Полчища эти проходили въ теченіе цѣлаго часа и касались земли только на вершинѣ находящагося вблизи дороги невысокаго холма, который такъ изрыли, какъ будто въ самомъ дѣлѣ прошло чрезъ него множество кавалерійскихъ полковъ.

Заинтересованный этими разсказами, я усиленно искалъ тѣхъ, которые сами видѣли такое необычайное явленіе. Разсказчики указывали мнѣ на очевидцевъ; но „очевидцы“ отсылали меня къ другимъ „очевидцамъ“, отъ которыхъ слышали описаніе событія, но „сами не видѣли“; другіе, третьи, десятыя также говорили, что

„сами не видѣли, но слышали отъ „вѣрныхъ людей“, которые не сокрутъ, такъ какъ видѣли все собственными глазами“. Такъ до „очевидцевъ“ я и не добрался. Наконецъ, мнѣ указали на послѣдняго „очевидца“, старика ксендза въ м. Жирмунахъ. Я познакомился съ нимъ. На вопросъ мой о явленіи, онъ отвѣчалъ мнѣ.

— Я былъ въ Вильнѣ, куда вызвалъ меня нашъ епископъ Клонгевичъ, и прожилъ тамъ недѣли двѣ. Тамъ же узналъ я о чудѣ, совершившемся въ мое отсутствіе подъ Жирмунами. Разказы объ этомъ были такъ настойчивы и упрямы, что дошли до губернатора, который командировалъ въ Жирмуны нарочнаго чиновника, для дознанія правды. Но чиновникъ не нашелъ ни одного очевидца явленія. Каждый говорилъ, что самъ не видалъ, но *все* видѣли. Кто же эти *все*? Сосѣдніе крестьяне, которые во множествѣ ѣхали въ Лиду, такъ какъ тогда былъ базарный день; но и между крестьянами не нашлось очевидца. „Казали людзи, что було нѣшто, а што — невѣдаю, бо самъ не бачивъ“, былъ общій отвѣтъ. Виленская академія, въ составѣ всѣхъ своихъ знаменитостей, разбирала вопросъ о возможности подобнаго явленія, допускала, что тутъ могли быть: рефракція, миражъ, *fata morgana* и даже просто вранье — да такъ ни на чемъ и не порѣшила. Я съ моей стороны не смѣю отрицать чуда. Никто, какъ Богъ! Въ Его власти всѣ чудеса! Быть можетъ Ему угодно было показать людямъ знаменіе Свое? Мало ли доказательствъ тому имѣемъ въ священномъ писаніи? Показалъ же Онъ древнимъ христіанамъ на небѣ крестъ, съ надписью „*ab hoc vincis*“ (симъ побѣдишь). Обратилъ же Савла въ Св. Апостола Павла словами, сказанными просто съ неба: „*Saule, Saule quid me persequeris?*“ (Савле, Савле! что мя гониши?).. Одного только не могъ я добиться — докончилъ священникъ: останавливались ли предъ шествіемъ рыцарей люди, ѣхавшіе

изъ Лиды, или же оно было видимо только ѣдущимъ со стороны Вильны въ Лиду?

Такимъ образомъ, и послѣдній „очевидецъ“ ничего не видѣлъ!

Что касается холма, то чрезъ него до нынѣ гоняютъ на пастбище принадлежащія мѣстечку стада домашняго скота, который, конечно, могъ изрыть холмъ далеко прежде перемоніальнаго марша рыцарей.



## XVIII.

# ХРОНОГРАФЪ ІОАННА МАЛАЛЫ.

---

Виленская публичная бібліотека обладаетъ весьма большимъ числомъ рѣдкихъ старинныхъ рукописей. Въ предисловіи къ описанію ихъ, составленному Ф. Добрянскимъ, въ 1882 году, сказано:

„Великая заслуга въ этомъ отношеніи (составленіи церковно-славянскихъ лѣтописей) такихъ обитателей, какъ *Кіево-Печерская, Троице-Сергіева* и другія лавры, достаточно выяснена и мы не будемъ подробнѣе распространяться объ этомъ. Но и наши рукописи почти всѣ написаны въ обителяхъ здѣшняго края. *Супрасль-ская лавра, Жировицкій монастырь, витебскій Марковъ монастырь*—вотъ мѣста, откуда вышла большая часть рукописей виленской публичной бібліотеки!“

Въ числѣ рукописей этихъ, подъ № 109, находится „Хронографъ“, въ листъ, полууоставомъ, въ 736 листовъ. Писанъ двумя почерками, на бумагѣ двухъ сортовъ. По почерку, вѣрочемъ, обѣ эти части современны, но писаны разными лицами и потомъ уже сшиты въ одну книгу. На поляхъ рукописи сдѣлано множество замѣчаній на

польскомъ языкѣ, скорописью XVIII вѣка. На переплетной доскѣ въ одномъ мѣстѣ есть надпись:

„То есть книга, глаголемая Кроника“.

Переплетъ деревянный, обтянутый кожей. Рукопись поступила изъ Супрасльскаго монастыря.

Разсмотримъ этотъ „Хронографъ“ собственно по отношенію къ литовско-языческой религіи.

Въ немъ есть статьи, повидимому, не встрѣчающіяся въ другихъ хронографахъ, какъ напримѣръ статья на 127 листѣ:

„О прѣлести поганьской в нашей Литвѣ“.

Глава начинается слѣдующими словами:

„Скажемъ поганьскыя прѣлести быти сіево и в Литвѣ нашей“.

На полѣ позднѣйшая замѣтка:

„Се есть прѣлестъ поганьская и в нашей Литвѣ то ся водило злое дѣло и до Витовта, бо Витовтову жону во Иряколѣ сожгли по смерти и потомъ почали переставати жечися“.

Замѣтка эта расходится съ историческою правдою, потому что Витовтъ былъ женатъ на христіанкѣ, а не на „поганкѣ“; слѣдовательно, она сожжена не была и литовцы „почали переставати жечися“ гораздо раньше.

„Хронографъ“ этотъ есть супрасльскій списокъ съ болгарскаго перевода хроники Іоанна *Малалы* (грека). Списковъ этихъ два: московскій, относящійся по письму къ XV вѣку и супрасльскій съ XVII столѣтія. Указаніе на московскій списокъ сдѣлано княземъ М. Оболенскимъ, въ предисловіи къ изданію „*Литописца Переяславля-Суздальскаго*“, составленнаго въ началѣ XIII столѣтія. (Москва. 1851. *Временникъ Имп. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. стр. XIX и XXI*).

Э. Вольтеръ, въ книгѣ „Катехизисъ Даукши“, на стр. 178 говоритъ:

„Хотя московская рукопись по письму и относится къ XV вѣку, но все же, по соображеніямъ князя Оболенскаго, русскій переписчикъ началъ списывать болгарскій переводъ хроники Малалы уже въ XIII вѣкѣ, именно въ 1262 году; „Оуказъ“ (же „поганьской прѣлести сице, иже Совія Богомъ нарипають“) „Хронографъ“ на поганскія вѣрованія литовцевъ сдѣланъ современникомъ составителя „Ипатіевской Лѣтописи“. Въ концѣ главы о „Совіѣ и Литвѣ“ въ супрасльскомъ спискѣ говорится:

„Лѣт же имѣют от Авимелеха и многого роду сквернаго Совія до сего лѣта в няж начахом писати книги си, есть 3446 лѣт тое было“.

Отъ „Совія“, современника Авимелеха, до того года, въ которомъ западно-русскій переписчикъ началъ „писати книги си“, прошло 3446 лѣтъ. А „извѣстно“ — говоритъ князь М. Оболенскій (I. с. стр. XXII), „что Авимелехъ, царь Герарскій, былъ современникъ Авраама; по лѣтосчисленію же Нестора, отъ Адама до потопа 2242 года, а отъ потопа до Авраама 3324 года, да отъ Авимелеха до лѣта, въ которое начались писатись „книги си“, 3446, итого 6770 лѣтъ отъ сотворенія міра, т. е. 1262 годъ отъ Рождества Христова“.

Объясненіе слова „Совія“ можно найти въ статьѣ академика А. Куника: „почему Литва и Пруссы назывались *Совицею*“, помѣщенной въ Запискахъ Имп. Акад. Наукъ, въ 1886 году.

Н. Костомаровъ, въ статьѣ „Русскіе Инородцы. Литовское племя и отношенія его къ Русской исторіи“ („Русское Слово“, 1860. Май. V) говоритъ:

„У литовцевъ былъ свой героическій эпосъ: кромѣ изуродованныхъ сказаній изъ прусско-нѣмецкихъ хро-

никъ, на это указываетъ переводчикъ „Хронографа“ Малалы, приводя темное преданіе о какомъ-то *Soviu*, называемомъ еще *Soviu*, который будто бы ввелъ между литовцами богослуженіе, научилъ ихъ мифологіи и входилъ въ какой-то таинственный міръ, называемый у христіанскаго повѣствователя *идомъ*, чрезъ *девять воротъ*. Признавая незапамятную древность этого сказанія, повѣствователь считаетъ „Совію“ современникомъ Авимелеха, жившаго при Авраамѣ. Этотъ „Совія“ имѣеть, кажется, сходство съ баснословнымъ *Вейдавутомъ*, который въ прусско-нѣмецкихъ хроникахъ изображается вводителемъ религіознаго строя“.

И на стр. 44:

„О загробныхъ вѣрованіяхъ литовцевъ сохранилось чрезвычайно любопытное, хотя, къ сожалѣнію, не ясное извѣстіе у переводчика хроники Малалы. Здѣсь показывается очень слабое понятіе о сознательной жизни за гробомъ: высшее наслажденіе, которое воображеніе создаетъ себѣ—это сонъ“.

„Хронографъ“ Малалы говоритъ о литовскихъ божествахъ такъ-же сбивчиво и темно, какъ и „Ипатіевская Лѣтопись“. Впрочемъ, послѣдняя говоритъ о нихъ менѣе всѣхъ; но, несмотря на то, вызвала преній о нихъ болѣе, нежели всякая другая лѣтопись. На стр. 188, II тома „Полнаго Собр. Рус. Лѣтописей“ о божествахъ она упоминаетъ только вкратцѣ, какъ бы вскользь, именно:

„Миндогъ же посла къ папѣ и прія крещеніе. Крещеніе же его льстиво бысть: жряше богомъ своимъ втайнѣ, первому *Изнадтеви* и *Телявели* и *Диверикъзу*, *Заялчому* богу и *Мьндьину*; егда же выѣхаше на поле и выбѣгнаше заяць на поле въ лѣсъ рашенія не вхожаше вну и не смѣяше ни розгы оулумити, и богомъ своимъ жряше и

мертвыхъ тѣлеса сожигаше и поганьство свое явѣ творяше“.

И на стр. 195:

„ . . . . . тужаху же и плеваху по свойскы рекуще: „*Анда*“, взывающе богы своя, *Андая* и *Диверкзза* и вся богы своя поминающе, рекомыя бѣси“.

Въ находящемся въ Вильнѣ Супрасльскомъ спискѣ „Хронографа“ Іоанна Малалы есть, какъ сказано выше, на 127 листѣ, также подходящее мѣсто, именно въ статьѣ „О поганьской прѣлести в нашей Литвѣ“:

„О великаа прѣлестъ діаволскаа яж въведе в литовскы род и в ятвези и в прусы и в емь и в лив и иныа многіа языкы иж Совицею наричютса, мяще и душам своим суца проводника в адъ, Совья бывшему в лѣта Авимелеха иж и нынѣ мертва тѣлеса съжигают на крадах, якож Ахилесос и Еант и иніи по роду Елини. Сію прѣлестъ Совію въведе в нѣ, иж приносили жрътву скверным богом *Андіевъ* (по Оболенскому *Андаеви*) и *Перкунови*, рекше грому и *Жевороунъ*, рекше Соуце (у Оболенскаго: „и *Жвороунъ*, рекше соуце“) и *Теля великъ коузнецъ* (у Оболенскаго: „и *Телявели и с коузнею*“), сковаше емоу солнце яко свѣтити по земли, и възвергши емоу на небо солнце“.

Эти отрывки вызвали цѣлую литературу догадокъ, кто такіе были *Нзнадъи*, *Телавель*, *Диверкззз*, *Залчій богъ*, *Мъндъинъ* или *Мъндъинъ*, *Андай* и *Жворуна*?

Въ разъясненіи вопроса, существовали ли эти боги, приняли участіе: А. *Мържинскій* (рефератъ, читанный на кievскомъ археологическомъ съѣздѣ), А. *Брикнеръ*, берлинскій профессоръ („*Lithu-Slavische Studien*. Weimar. 1887), И. Юшкевичъ („Литовско-Русско-Польскій



Словарь“), *Ф. Миклошичъ* („Lexicon palaeo-slovenico-graeco-latinum), *Э. Вольтеръ*, въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ и др. Вопросъ этотъ донынѣ окончательно не разрѣшенъ.

Такъ, напримѣръ, профессоръ Мѣржинскій, взявъ въ соображеніе, что Ласицкій пишетъ: „*Numeias* vocant domesticos deos“ и что это слово сложное изъ *numas* домъ и *dievas* богъ—утверждаетъ, что нужно читать *Numadievas* или *Numdievas*, домашній богъ (домовой). Но Брикнеръ, тщательнѣе другихъ разобравшій вышеприведенныя выписки, отвергаетъ объясненіе Мѣржинскаго, и все-таки не выясняетъ, кто такой *Нзмднѣй*?

Э. Вольтеръ, на стр. 176 и дальше „Катехизиса Даукши“, приводитъ мнѣнія не сходныя между собою различныхъ писателей объ *Анда*, *Андіевъ* и проч. и спрашиваетъ, не позаимствовалъ ли „ипатіевскій“ лѣтописецъ нѣкоторыя свѣдѣнія изъ „Хронографа“ Малалы?

Переходя къ *Жворунъ* „рекше соуце“, Вольтеръ говоритъ, что въ литовскомъ языкѣ есть слово *Жверине*, —вечерняя звѣзда и что такихъ звѣздъ „звѣриныхъ“ у литовцевъ нѣсколько: „*Диджіойи-Жверине*“ — Юпитеръ или Сатурнъ; „*Мажойи Жверине*“ — Марсъ.

Это ближе подходитъ къ письму Оболенскаго „и Жвороунъ рекше соуце“, нежели къ прочитанному Ф. Добрянскимъ (описаніе виленскихъ рукописей, стр. 250): „Иже во Роунъ“. Что такое „Роунъ“? и при чемъ тогда была бы *сука* (canis foemina, самка собаки)? Ясно, что составитель „Хронографа“ или его переписчикъ, въ фанатической ненависти къ „поганьству“, назвалъ „сукою“ какую-нибудь литовскую богиню.

Но замѣчательнѣе всего разборъ *Телявелля*.

Г. Мѣржинскій, въ кіевскомъ рефератѣ своемъ, имѣлъ въ виду, что Ласицкій увѣряетъ въ существованіи божка *Тивалса*; и потому производитъ это названіе отъ

слова *tewas*, *tėwas* или *tawas*, отецъ; уменьшительное *tawalis*, *tėwalis*, батюшка; произносится же *tejawalis*, *tejawelis*; а какъ въ жмудскомъ діалектѣ очень часто предъ окончаніемъ *s* исчезаютъ гласныя *a*, *i*, то Ласицкій и пишетъ „*Tawals* (вмѣсто *Tawalis*) *deus auctor facultatum*“. Къ названію божества очень часто прибавляется *tewas*, отецъ, какъ у латышей *mate*, мать; на-примѣръ, у Спрогиса („Памятники латышскаго народнаго творчества“. Вильна. 1868): „*саулитъ-мамалынъ*“, солнышко-матушка; „*уденсъ-мате*“, мать-вода; „*межа-мате*“, мать лѣса; „*веля-мате*“, мать мертвецовъ и т. п. Изъ этого слѣдуетъ, что у Ласицкаго *Тавальсъ* не обозначаетъ особаго божества, а только почетное названіе божества и человѣка.

Противъ этого возражаетъ г. Вольтеръ на 177 стр. „Катехизиса Даукши“, говоря:

„Западно-русскій переписчикъ „Хронографа“ Іоанна Малалы (въ виленской библіотекѣ) высказывается обстоятельнѣе: онъ говоритъ, что „*Теля-великъ*“ это кузнецъ; онъ сковалъ солнце „яко свѣтити по земли“. Если кузнецъ относится къ „*Теля-великъ*“, тогда послѣдній не можетъ быть ни „*Тавальсъ*“, ни „*Тевалисъ*“ (батюшка), какъ полагаетъ Мѣржинскій, ни „*Теля-велисъ*“, лѣшимъ, пугающимъ странниковъ на дорогѣ (*Wegeteufel*), какъ объясняетъ Брикнеръ. Кузнецъ по-литовски называется *kalwis*, уменьшительное *kalwalis*, которое обращали можетъ быть (?) въ „*Тельвелисъ*“, а въ спискѣ XVII вѣка въ „*Теля-великъ*“ (?).

Между тѣмъ, божка „*Тавальса*“ никогда не существовало. Его выдумалъ Ласицкій, потому что латинскую букву *J* принялъ за букву *T*. Онъ ли въ этомъ виноватъ, или переписчикъ, неизвѣстно; но Ласицкій виноватъ въ томъ, что слово *Jawals* отъ *jawi*, рожь, означающее обиліе, урожай ржи, плодородіе, пожаловалъ въ

боги, какъ дѣлалъ это онъ, по незнанію литовскаго языка, съ многими словами. Ласицкій коротко называетъ „*Тавальса*“ божкомъ способностей. Нарбуттъ, благоговѣющій предъ Ласицкимъ, вмѣсто того, чтобы категорически доказать ему, что „*Тавальса*“ никогда не существовало и что „*Явальсг*“ есть производное слово *яву*, виляетъ вправо и влево и на стр. 103, т. I „Исторіи Литовскаго народа“, полагаетъ, безъ всякаго основанія, что могли быть два (!) божка: *Тавальсг* и *Явальсг*, изъ которыхъ первый былъ „божкомъ способностей къ сладострастію“ (!!), а послѣдній „богомъ способностей къ хорошей обработкѣ полей, для достиженія обильнаго урожая“ (!!).

Этимъ Нарбуттъ ввелъ въ обманъ и слѣпо вѣрившаго ему Крашевскаго, который въ поэмѣ своей „*Миндовсь*“ говоритъ явную ложь, будто въ виленскомъ святилищѣ *Перкуна* (Ромнове) истуканъ *Тавальса* поражалъ своимъ видомъ женщинъ: онъ представлялъ собою чудовище на козлиныхъ ногахъ, съ безстыдною улыбкою на устахъ, обремененный дарами развратниковъ, состоявшими изъ коралловыхъ, янтарныхъ, перламутровыхъ и ракушечныхъ ожерелій. Очевидно, Крашевскій скопировалъ греческаго *Сатира*. Скорѣе можно было бы допустить существованіе божка *Явальса*, какъ происходящаго изъ одного источника съ богинею земледѣлія *Крумниною*, которую въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ называли *Явиною*, отъ *jawi*, нежели *Тавальса*. Быть можетъ *Явальсг* и состоялъ съ *Явиною* въ какомъ-нибудь свойствѣ и былъ также покровителемъ земледѣлія, что и дало поводъ Стрыйковскому считать *Крумину* не богинею, а богомъ.

При чтеніи такой своеобразной и противурѣчивой оцѣнки выдержекъ изъ „Ипатіевской Лѣтописи“ и „Хронографа“ Малалы, невольно рождается мысль: не слишкомъ ли далеко гг. ученые изслѣдователи удалились отъ

прямого пути и не слѣдуетъ ли разгадки словъ „Теля-великъ-коузнецъ“, а у Оболенскаго еще „и съ коузнею“, искать въ самомъ смыслѣ текста? Не хотѣлъ ли лѣтописецъ сказать, что литовскій языческій народъ до того былъ дикъ и невѣжественъ, что вѣрилъ даже въ то, будто нашелся нѣкій великій кузнецъ, по имени „Теля“ (исковерканное какое-нибудь собственное имя), который самое солнце сковалъ для него и взвергъ на небо „яко свѣтити по земли“? Самыя слова „Теля-великъ-коузнецъ“ положены въ „Хронографѣ“ въ именительномъ падежѣ, тогда какъ прочіе „сквѣрные боги“ которымъ приносили „жрѣтвы“ или „жряше втайнѣ“, приводятся въ дательномъ, именно: „Андіеві“, „Перкунови“, „Жвороунѣ-соуце“, „Диверикъзу“, „Засечему богу“ и „Мѣндѣину“.

Трудно понять также, почему ученый міръ остановилъ свое просвѣщенное вниманіе на такой грубой, топорной работы притчѣ о сожиганіи тѣлъ покойниковъ, какая помѣщена на 127 листѣ „Хронографа“ Малалы, подъ заглавіемъ „О поганьской прѣлести в нашої Литвѣ“ и о которой упоминаетъ Костомаровъ, въ приведенной выше цитатѣ? Что за нелѣпая и темная сказка рассказывается о „Совіи, оуловившу емоу дивій вепрь, иземж из него Д (девять) селезницъ . . . . покушашесе снити в адъ осьмерными враты . . . . не възмог дѣвятими хотѣніе свое оуполучив“. . . . и далѣе рассказъ, какъ одинъ изъ сыновей „погребе ѿ в земли“, въ которой Совія не могъ спокойно уснуть, потому что „червьми изѣден бых и гады“; потомъ, какъ тотъ же сынъ вложилъ его „во скринію древяну“, гдѣ Совія также не могъ уснуть, „яко бчелами и комары многыми снѣден бых“ и какъ, наконецъ, сынъ „сѣтворив краду огньна велику и връже ѿ на огонь“, гдѣ Совія „яко дѣтищ в колыбели сладко спаш“. Лѣтописецъ заканчиваетъ эту безсмыслицу словами: „О великаа прѣлестъ діаволскаа“ и т. д., какъ выписано выше.

Странно, что потомки нынѣшняго столѣтія задались мыслию, къ писаніямъ своихъ предковъ за волосы притягивать смыслъ и настойчиво навязывать имъ идеи, о которыхъ они и не помышляли! И надъ этимъ ломаютъ себѣ головы ученый міръ, считая всякую нелѣпость полуграмотнаго писаки чѣмъ-то иносказательнымъ, таинственнымъ!

Казалось бы, ученымъ писателямъ слѣдовало обратить вниманіе на то, что древній славянскій языкъ, грубый и твердый по самой натурѣ своей, не способенъ къ произнесенію словъ мягкихъ и особенно иностранныхъ, и потому всѣ такія имена исказилъ до неузнаваемости; тѣ же писатели, которые вели на немъ въ древности свои записки, имѣли образованіе, по духу тогдашняго времени, весьма одностороннее, духовное, строго-монастырское, чуждое всякой вѣротерпимости и за стѣны монастыря въ міръ не проникавшее. И потому, дѣписатели эти не церемонились съ затруднительными названіями чуждыхъ имъ именъ, а передѣлывали ихъ, рубя сплеча, какъ имъ удобнѣе было, тѣмъ болѣе, если топорнымъ перомъ ихъ руководило и презрѣніе къ „поганьству“, въ родѣ того, какъ *Тьмутараканскій пехлеванъ* (богатырь) передѣланъ въ „Тьмутараканскаго болвана“, или Швеція въ *Свиньскоую* землю“. Последнее значится въ „Новгородской Лѣтописи“ (изд. кн. Оболенскаго), въ которой на стр. 69 сказано:

„Роукописаніе *Магнляшево* (Магнусово) *Свѣйскаго* короля. Се азъ, князь Магнушъ . . . . и отъ того времени найде на нашу землю *Свиньскоую* горькая погибель“ и т. д.

Отъ того эти писатели и исковеркали до неузнаваемости и названія всѣхъ литовскихъ боговъ и теперь потомки ломаютъ себѣ головы, тщетно доискиваясь истины.

Конечно, много такихъ названій искажилъ самъ грекъ Малала; еще больше болгарскій его переводчикъ; а ужъ о славянскихъ переписчикахъ и говорить нечего!

Малала жилъ въ Литвѣ и писалъ свои картины съ натуры (вѣроятно былъ греческій священникъ при одной изъ великихъ княгинь литовскихъ), иначе онъ не зналъ бы литовскихъ обычаевъ и не сравнивалъ бы ихъ съ еллинскими и не выражался бы: „въ *нашом* Литвѣ“.

Доказательствъ того, что славянскіе дѣписатели и переводчики извратили всѣ иноземныя названія, можетъ служить славянская Библия: узнаеть ли въ ней послѣдователь Моисея хоть одно изъ именъ, завѣщанныхъ намъ авторомъ „Книги Бытія“, начиная съ его собственнаго имени? Конечно, тутъ половина вины падаетъ на грековъ, съ которыхъ славяне переводили священныя писанія.

Но взглянемъ на тѣ лѣтописи, о которыхъ идетъ рѣчь: узнаеть ли чистый литовецъ хоть одно изъ своихъ историческихъ именъ? „*Ольгердъ*“, „*Римонтъ*“ (Ольгердъ, Наримунтъ), „*Гедиминъ*“, „*Гедимонъ*“ (Гедиминъ), „*Къриядъ*“, „*Кърнадъ*“, „*Кърибоутъ*“, „*Ажгойло*“, „*Керзбятъ*“, „*Доуговеней*“, „*Овитригаймо*“ и „*Швитригайло*“ (Свидригайло), „*Жидимонтъ*“ и „*Жикгимонтъ*“ (Гедиминъ), „*Вашелегъ*“ (Войшелкъ), „*Олирдакъ*“ (Ольгердъ), „*Мидогъ*“, „*Тренята*“ (Тройнатъ), „*Живинзбудъ*“, „*Давьятъ*“, „*Довзспрунгъ*“, „*Великаилъ*“ и мн. др.

Даже славянскихъ языческихъ боговъ лѣтописцы называть не умѣли. Такъ, „Лѣтописецъ Великихъ Князей Литовскихъ“ (изд. Даниловича), на стр. 104, говоритъ:

„Володымеръ же постави кумѣри на холми: *Перуна* и *Хорса* и *Дажба* и *Дистриба* и *Семаргга* и *Мокошъ*“.

А въ „Софійскомъ Временникѣ“, на стр. 55, они называются: „и *Харса* и *Дажба* и *Стриба* и *Семирагла* и *Могошъ*“.

Но всего не высчитаешь. Да и зачѣмъ такъ ходить далеко? Развѣ наши невѣжественные „думные дяки“, въ позднѣйшей эпохѣ, не сдѣлали изъ Стокгольма „*Стеколны*“, изъ Гамильтона „*Холутова*“, изъ Оклобжію „*Оглоблина*“ и не исковеркали сотни другихъ иностранныхъ именъ?

Подобныя лѣтописи и „источники“ — это Сцилла и Харибда для новѣйшаго литовскаго историка или мифолога.

*(Продолженіе книги можетъ быть въ послѣдствіи).*

